

Марина Цветаева Повесть о Сонечке

Часть первая Павлик и Юра

*Elle etait pâle – et pourtant rose,
Petite – avec de grands cheveux...¹*

Нет, бледности в ней не было никакой, ни в чем, все в ней было – обратное бледности, а все-таки она была – *pourtant rose*, и это своеместно будет доказано и показано.

Была зима 1918 г. — 1919 г., пока еще зима 1918 г., декабрь. Я читала в каком-то театре, на какой-то сцене, ученикам Третьей студии свою пьесу «Метель». В пустом театре, на полной сцене.

«Метель» моя посвящалась: – Юрию и Вере З., их дружбе – моя любовь. Юрий и Вера были брат и сестра, Вера в последней из всех моих гимназий – моя соученица: не одноклассница, я была классом старше, и я видела ее только на перемене: худого кудрявого девического щенка, и особенно помню ее длинную спину с полуразвитым жгутом волос, а из встречного видения, особенно – рот, от природы – презрительный, углами вниз, и глаза – обратные этому рту, от природы смеющиеся, то есть углами вверх. Это расхождение линий отдавалось во мне неизъяснимым волнением, которое я переводила ее красотой, чем очень удивляла других, ничего такого в ней не находивших, чем безмерно удивляли – меня. Тут же скажу, что я оказалась права, что она потом красавицей – оказалась и даже настолько, что ее в 1927 г., в Париже, труднобольную, из последних ее жил тянули на экран.

С Верой этой, Вере этой я никогда не сказала ни слова и теперь, девять лет спустя школы надписывая ей «Метель», со страхом думала, что она во всем этом ничего не поймет, потому что меня наверное не помнит, может быть, никогда и не заметила.

(Но почему Вера, когда Сонечка? А Вера – корни, доистория, самое давнее Сонечкино начало. Очень коротенькая история – с очень долгой доисторией. И поисторией.)

Как Сонечка началась? В моей жизни, живая, началась?

Был октябрь 1917 г. Да, тот самый. Самый последний его день, то есть первый по окончании (заставы еще догромыхивали). Я ехала в темном вагоне из Москвы в Крым. Над головой, на верхней полке, молодой мужской голос говорил стихи. Вот они:

И вот она, о ком мечтали деды
И шумно спорили за коньяком,
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,
К нам ворвалась – с опущенным штыком!

И призраки гвардейцев-декабристов
Над снеговой, над пушкинской Невой
Ведут полки под переклик горнистов,
Под зычный вой музыки боевой.

Сам император в бронзовых ботфортах
Позвал тебя, Преображенский полк,

Когда в заливах улиц распростертых
Лихой кларнет – сорвался и умолк...

И вспомнил он, Строитель Чудотворный,
Внимая петропавловской пальбе —
Тот сумасшедший – странный – непокорный, —
Тот голос памятный: – Ужо Тебе!

– Да что же это, да чье же это такое, наконец?

– Автору – семнадцать лет, он еще в гимназии. Это мой товарищ – Павлик А.

Юнкер, гордящийся, что у него товарищ – поэт. *Боевой* юнкер, пять дней дравшийся.
От поражения отыгрывающийся – стихами. Пахнуло Пушкиным: *теми* друзьями. И сверху
– ответом:

– Он очень похож на Пушкина: маленький, юркий, курчавый, с бачками, даже мальчишки в Пушкине зовут его: Пушкин. Он все время пишет. Каждое утро – новые стихи.

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти,
Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть
Твои глаза...

– А этот – из «Куклы Инфанта», это у него пьеса такая. Это Карлик говорит Инфанте.
Карлик любит Инфанту. Карлик – он. Он, правда, маленький, но совсем не карлик.

...Единая под множеством имен...

Первое, наипервейшее, что я сделала, вернувшись из Крыма – разыскала Павлика. Павлик жил где-то у Храма Христа Спасителя, и я почему-то попала к нему с черного хода, и встреча произошла на кухне. Павлик был в гимназическом, с пуговицами, что еще больше усиливало его сходство с Пушкиным-лицеистом. Маленький Пушкин, только – черноглазый: Пушкин – легенды.

Ни он, ни я ничуть не смутились кухни, нас толкнуло друг к другу через все кастрюльки и котлы – так, что мы – внутренно – звякнули, не хуже этих чанов и котлов. Встреча была вроде землетрясения. По тому, как я поняла, кто он, он понял, кто я. (Не о стихах говорю, я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи.)

Простояв в магическом столбняке – не знаю сколько, мы оба вышли – тем же черным ходом, и заливаясь стихами и речами...

Словом, Павлик пошел – и пропал. Пропал у меня, в Борисоглебском переулке, на долгий срок. Сидел дни, сидел утра, сидел ночи... Как образец такого сидения приведу только один диалог.

Я, робко: – Павлик, как Вы думаете – можно назвать – то, что мы сейчас делаем – мыслью?

Павлик, еще более робко: – Это называется – сидеть в облаках и править миром.

У Павлика был друг, о котором он мне всегда рассказывал: Юра З. – «Мы с Юрой... Когда я прочел это Юре... Юра меня все спрашивает... Вчера мы с Юрой нарочно громко целовались, чтобы подумали, что Юра, наконец, влюбился... И подумайте: студийцы выскакивают, а вместо барышни – я!!!»

В один прекрасный вечер он мне «Юру» – привел. – А вот это, Марина, мой друг – Юра З. – с одинаковым напором на каждое слово, с одинаковым переполнением его.

Подняв глаза – на это ушло много времени, ибо Юра не кончался – я обнаружила Верины глаза и рот.

– Господи, да не брат ли вы... Да, конечно, вы – брат... У вас не может не быть сестры

Веры!

– Он ее любит больше всего на свете!

Стали говорить Юрий и я. Говорили Юрий и я, Павлик молчал и молча глотал нас – вместе и нас порознь – своими огромными тяжелыми жаркими глазами.

В тот же вечер, который был – глубокая ночь, которая была – раннее утро, расставшись с ними под моими тополями, я написала им стихи, им вместе:

Спят, не разнимая рук —
С братом – брат, с другом – друг.
Вместе, на одной постели...

Вместе пили, вместе пели...

Я укутала их в плэд,
Полюбила их навеки,
Я сквозь сомкнутые веки
Странные читаю вести:
Радуга: двойная слава,
Зарево: двойная смерть.

Этих рук не разведу!
Лучше буду, лучше буду
Полымем пылать в аду!

Но вместо полымя получилась – Метель.

Чтобы сдержать свое слово – не разводить *этих* рук – мне нужно было свести в своей любви – другие руки: брата и сестры. Еще проще: чтобы не любить *одного* Юрия и этим не обездолить Павлика, с которым я могла только «совместно править миром», мне нужно было любить Юрия плюс еще что-то, но это что-то не могло быть Павликом, потому что Юрий плюс Павлик были уже данное, – мне пришлось любить Юрия плюс Веру, этим Юрия как бы рассеивая, а на самом деле – усиливая, сосредоточивая, ибо все, чего нет в брате, мы находим в сестре и все, чего нет в сестре, мы находим в брате. Мне досталась на долю ужасно полная, невыносимо полная любовь. (Что Вера, больная, в Крыму и ничего ни о чем не знает – дела не меняло.)

Отношение с самого начала – стало.

Было молча условлено и установлено, что они всегда будут приходить вместе – и вместе уходить. Но так как ни одно отношение сразу стать не может, в одно прекрасное утро телефон: – Вы? – Я. – А нельзя ли мне когда-нибудь прийти к вам *без* Павлика? – Когда? – Сегодня.

(Но где же Сонечка? Сонечка – уже близко, уже почти за дверью, хотя по времени – еще год.)

Но преступление тут же было покарано: нам с З. наедине было просто скучно, ибо о главном, то есть мне и нем, нем и мне, нас, мы говорить не решались (мы еще лучше вели себя с ним наедине, чем при Павлике!), все же остальное – не удавалось. Он перетрагивал на моем столе какие-то маленькие вещи, спрашивал про портреты, а я – даже про Веру ему говорить не смела, до того Вера была – он. Так и сидели, неизвестно что высиживая, высиживая единственную минуту прощания, когда я, проводив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую голову, – да ничего, только взгляд: – да? – нет – может быть да? – пока еще – нет – и *двойная* улыбка: его восторженного изумления, моя – нелегкого торжества. (Еще одна такая победа – и мы разбиты.)

Так длилось год.

Своей «Метели» я ему тогда, в январе 1918 г., не прочла. Одарить одиноко можно только очень богатого, а так как он мне за наши долгие сидения таким не показался, Павлик же – оказался, то я и одарила его Павлика – в благодарственную отместку за «Инфанту», тоже посвященную не мне – для Юрия же выбрала, выждала самое для себя трудное (и для себя бы – бедное) чтение ему вещи перед лицом всей Третьей студии (все они были – студийцы Вахтангова, и Юрий, и Павлик, и тот, в темном вагоне читавший «Свободу» и потом сразу убитый в Армии) и, главное, перед лицом Вахтангова, их всех – бога и отца-командира.

Ведь моей целью было одарить его возможно больше, больше – для актера – когда людей больше, ушей больше, очей больше...

И вот, больше года спустя знакомства с героем, и год спустя написания «Метели» – та самая полная сцена и пустой зал.

(Моя точность скучна, знаю. Читателю безразличны даты, и я ими врежу художественности вещи. Для меня же они насущны и даже священные, для меня каждый год и даже каждое время года тех лет явлен – лицом: 1917 г. – Павлик А., зима 1918 г. – Юрий З., весна 1919 г. – Сонечка... Просто не вижу ее вне этой девятки, двойной единицы и двойной девятки, перемежающихся единицы и девятки... Моя точность – моя последняя, посмертная верность.)

Итак – та самая полная сцена и пустой зал. Яркая сцена и черный зал.

С первой секунды чтения у меня запылало лицо, но – так, что я боялась – волосы загорятся, я даже чувствовала их тонкий треск, как костра перед разгаром.

Читала – могу сказать – в *алом* тумане, не видя тетради, не видя строк, наизусть, на авось читала, единым духом – как пьют! – но и как поют! – самым певучим, за сердце берущим из своих голосов.

...И будет плыть в пустыне графских комнат
Высокая луна.
Ты – женщина, ты ничего не помнишь,
Не помнишь...
(настойчиво)
не должна.

Страннице – сон.
Страннику – путь.
Помни! – Забудь.

(Она спит. За окном звон безвозвратно удаляющихся бубенцов.)

Когда я кончила – все сразу заговорили. Так же *полно* заговорили, как я – замолчала. – Великолепно. – Необычайно. – Гениально. – Театрально – т. д. – Юра будет играть Господина. – А Лиля Ш. – старуху. – А Юра С. – купца. – А музыку – те самые безвозвратные колокольчики – напишет Юра Н. Вот только – кто будет играть Даму в плаще?

И самые бесцеремонные оценки, тут же, в глаза: – *Ты* – не можешь: у тебя бюст велик. (Вариант: ноги короткие.)

(Я, молча: – Дама в плаще – моя душа, ее никто не может играть.)

Все говорили, а я пылала. Отговорив – заблагодарили. – За огромное удовольствие... За редкую радость... Все чужие лица, чужие, т. е. ненужные. Наконец – он: Господин в плаще. Не подошел, а отошел, высотой, как плащом, отъединяя меня от всех, вместе со мною, к краю сцены: – Даму в плаще может играть только Верочка. Будет играть только Верочка. *Их дружбе – моя любовь?*

– А это, Марина, – низкий торжественный голос Павлика, – Софья Евгеньевна Голлидэй, – совершенно так же, как год назад: – А это, Марина, мой друг – Юра З. Только на

месте *мой друг* – что-то – проглочено. (В ту самую секунду, плечом чувствую, Ю. З. отходит.)

Передо мною маленькая девочка. *Знаю*, что Павликина Инфанта! С двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками.

Передо мною – живой пожар. Горит все, горит – вся. Горят щеки, горят губы, горят глаза, несгораемо горят в костре рта белые зубы, горят – точно от пламени выются! – косы, две черных косы, одна на спине, другая на груди, точно одну костром отбросило. И взгляд из этого пожара – такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!

– Разве это бывает? Такие харчевни... метели... любви... Такие Господины в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы уехать навсегда? Я всегда знала, что это – было, теперь я знаю, что это – есть. Потому что это – правда – было: вы, действительно, так стояли. Потому что это *вы* стояли. А Старуха – сидела. И все знала. А Метель шумела. А Метель приметала его к порогу. А потом – отметала... заметала след... А что было, когда она завтра встала? Нет, она завтра не встала... Ее завтра нашли в поле... О, почему он не взял ее с собой в сани? Не взял ее с собой в шубу?..

Бормочет, как сонная. С раскрытыми – дальше нельзя! – глазами – спит, спит наяву. Точно мы с ней одни, точно никого нет, точно и меня – нет. И когда я, чем-то отпущенная, наконец, оглянулась – действительно, на сцене никого не было: все почувствовали или, воспользовавшись, бесшумно, беззвучно – вышли. Сцена была – наша.

И только тут я заметила, что все еще держу в руке ее ручку.

– О, Марина! Я тогда так испугалась! Так потом плакала... Когда я вас увидела, услышала, так сразу, так безумно полюбила, я поняла, что вас нельзя не полюбить безумно – я сама вас так полюбила сразу.

– А он *не* полюбил.

– Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я вас люблю. А его я презираю – за то, что не любит вас – на коленях.

– Сонечка! А вы заметили, как у меня тогда лицо пылало?

– Пылало? Нет. Я еще подумала: какой нежный румянец...

– Значит, внутри пылало, а я боялась – всю сцену – весь театр – всю Москву сожгу. Я тогда думала – из-за него, что ему – его – себя, себя к нему – читаю – перед всеми – в первый раз. Теперь я поняла: оно навстречу вам пылало. Сонечка... Ни меня, ни вас. А любовь все-таки вышла. Наша.

Это был мой последний румянец, в декабре 1918 г. Вся Сонечка – мой последний румянец. С тех приблизительно пор у меня начался тот цвет – нецвет – лица, с которым мало вероятия, что уже когда-нибудь расстанусь – до последнего нецвета.

Пылание ли ей навстречу? Ответ ли ее короткого бессменного пожара?

...Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку.

– Сонечка, откуда при вашей безумной жизни – не спите, не едите, плачете, любите – у вас этот румянец?

– О, Марина! Да ведь это же – из последних сил!

Тут-то и оправдывается первая часть моего эпиграфа:

Elle etait pâle – et pourtant rose...²

То есть бледной – от всей беды – она бы быть должна была, но, собрав последние силы – нет! – пылала. Сонечкин румянец был румянец героя. Человека, решившего гореть и греть.

² Она была бледной – и все-таки розовой... (*фр.*).

Я часто видала ее по утрам, после бессонной со мною ночи, в тот ранний, ранний час, после поздней, поздней беседы, когда все лица – даже самые молодые – цвета зеленого неба в окне, цвета рассвета. Но нет! Сонечкино маленькое темноглазое лицо горело, как непогашенный розовый фонарь в портовой уличке, – да, конечно, это был – порт, и она – фонарь, а все мы – тот бедный, бедный матрос, которому уже опять пора на корабль: мыть палубу, глотать волну...

Сонечка, пишу тебя на Океане. (О, если бы это могло звучать: «Пишу тебе с Океана», но нет:) – пишу тебя на Океане, на котором ты никогда не была и не будешь. По краям его, а главное, на островах его, живет много черных глаз. Моряки знают.

Elle avait le rire si près des larmes et les larmes si près du rire – quoique je ne me souvienne pas de les avoir vues couler. On aurait dit que ses yeux étaient trop chauds pour les laisser couler, qu'ils les séchaient lors même de leur apparition. C'est pour cela que ces beaux yeux, toujours prêts à pleurer, n'étaient pas des yeux humides, au contraire – des yeux qui, tout en brillant de larmes, donnaient chaud, donnaient l'image, la sensation de la chaleur – et non de l'humidité, puisqu'avec toute sa bonne volonté – mauvaise volonté des autres – elle ne parvenait pas à en laisser couler une seule.

Et pourtant – si!

Belles, belles, telles des raisins égrenés, et je vous jure qu'elles étaient brûlantes, et qu'en la voyant pleurer – on riait de plaisir! C'est peut-être cela qu'on appelle «pleurer à chaudes larmes»? Alors j'en ai vu, moi, une humaine qui les avait vraiment chaudes. Toutes les autres, les miennes, comme celles des autres, sont froides ou tièdes, les siennes étaient brûlantes, et tant le feu de ses joues était puissant qu'on les voyait tomber – roses. Chaudes comme le sang, rondes comme les perles, salées comme la mer.

...On aurait dit qu'elle pleurait du Mozart³.

* * *

А вот, что о Сонечкиных глазах говорит Edmond About в своем чудесном «Roi des Montagnes»:

– Quels yeux elle avait, mon cher Monsieur! Je souhaite pour votre repos que vous n'en rencontriez jamais de pareils. Ils n'étaient ni bleus ni noirs, mais d'une couleur spéciale et personnelle faite exprès pour eux. C'était un brun ardent et veloute qui ne se rencontre que dans le grenat de Sibérie et dans certaines fleurs des jardins. Je vous montrerai une scabieuse et une variété de rose première presque noire qui rappellent, sans la rendre, la nuance merveilleuse de ses yeux. Si vous avez jamais visité les forges à minuit, vous avez dû remarquer la lueur étrange que projette une plaque d'acier chauffée au rouge brun: voilà tout justement la couleur de ses regards. Toute la science de la femme et toute l'innocence de l'enfant s'y lisaient comme dans un livre; mais ce livre, on serait devenu aveugle à le lire longtemps. Son regard brûlait, aussi vrai que je m'appelle

³ Ее смех был так близок к слезам – а слезы так близки к смеху, – хотя я не помню, чтобы видала их льющимися. Можно было бы сказать: ее глаза были слишком горячими, чтобы дать слезам пролиться, что они сразу высушивали их. И потому эти прекрасные глаза, всегда готовые плакать, не были влажными, напротив: блестя слезами, они излучали жар, являли собою образ, излучение тепла, а не влажности, ибо при всем своем желании (нежелании – других), ей не удавалось пролить ни единой слезинки.

И все же – !

Прекрасные, прекрасные, подобные виноградинам; и уверяю вас, они были обжигающими, и при виде ее, плачущей, хотелось смеяться – от наслаждения! Это и есть, вероятно – «плакать жаркими слезами»? Значит, я видала человеческое существо, у которого слезы были действительно жаркими. У всех прочих – у меня, у остальных – они холодные или теплые, а у нее были обжигающие, и так был силен жар ее щек, что они казались розовыми. Горячие, как кровь, круглые, как жемчуг, соленые, как море.

Можно было сказать, что она плакала по-моцартовски (*фр.*) .

Hermann. Il aurait fait mûrir les pêches de vorte espalier⁴.

Понятен теперь возглас Павлика?

Знай, что готов я на любой костер взойти,
Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть —
Твои глаза...

Мое же, скромное:

Глаза карие, цвета конского каштана, с чем-то золотым на дне, темно-карие с — на дне — янтарем: *не* балтийским: восточным: красным. Почти черные, с — на дне — красным золотом, которое временами всплывало: янтарь — растапливался: глаза с — на дне — топленным, потопленным янтарем.

Еще скажу: глаза немножко жмурые: слишком много было ресниц, казалось — они ей мешали глядеть, но так же мало мешали нам их, глаза, видеть, как лучи мешают видеть звезду. И еще одно: даже когда они плакали — эти глаза смеялись. Поэтому их слезам не верили. Москва слезам не верит. Та Москва — тем слезам — не поверила. Поверила я одна.

Ей, вообще, не доверяли. О ней, вообще, на мои быющие по всем площадям восторги, отзывались... сдержанно, да и сдержанно-то — из почтения ко мне, сдерживая явный суд и осуждение.

— Да, очень талантливая... Да, но знаете, актриса только на свои роли: на самое себя. Ведь она себя играет, значит — не играет вовсе. Она — просто живет. Ведь Сонечка в комнате — и Сонечка на сцене...

Сонечка на сцене:

Выходит маленькая, в белом платьице, с двумя черными косами, берется за спинку стула и рассказывает: — Жили мы с бабушкой... Квартирку снимали... Жилец... Книжки... Бабушка булавкой к платью пришила... А мне сты-ыдно...

Свою жизнь, свою бабушку, свое детство, свою «глупость»... Свои белые ночи.

Сонечку знал весь город. На Сонечку — ходили. Ходили — на Сонечку. — «А вы видали? такая маленькая, в белом платьице, с косами... Ну, прелесть!» Имени ее никто не знал: «такая маленькая...»

Белые Ночи были — событие.

Спектакль был составной, трехгранный. Первое: Тургенев, «История Лейтенанта Ергунова»: молодая чертовка, морока, где-то в слободской трущобе завораживающая, обморачивающая молодого лейтенанта. После всех обещаний и обольщений исчезающая — как дым. С его кошельком. Помню, в самом начале она его ждет, наводит красоту — на себя и жилище. Посреди огромного сарая — туфля. Одинокая, стоптанная. И вот — размахом ноги — через всю сцену. Навела красоту!

Но это — не Сонечка. Это к Сонечке — введение.

Второе? Мне кажется — что-то морское, что-то портовое, матросское, — может быть Мопассан: брат и сестра? Исчезло.

⁴ Эдмон Абу... в «Горном короле»:

— Какие у нее были глаза, любезный господин! Ради вашего же спокойствия желаю вам никогда не повстречать подобных! Они не были ни синими, ни черными, но цвета особенного, единственного, нарочно для них созданного. Они были темными, пламенными и бархатистыми, такой цвет встречается лишь в сибирских гранатах и некоторых садовых цветах. Я вам покажу скабиозу и сорт штокрозы, почти черной, которые напоминают, хотя и не передают точно, чудесный оттенок ее глаз. Если вы когда-нибудь бывали и кузнице в полночь, вы должны были заметить тот странный коричневый блеск, который отбрасывает стальная пластина, раскаленная докрасна, вот это будет точно цвет ее глаз. Вся мудрость женщины и вся невинность ребенка читались в них, как в книге; но это была такая книга, от долгого чтения которой можно было ослепнуть. Ее взор сжигал — это так же верно, как то, что меня зовут Герман. Под таким взглядом могли бы созреть персики в вашем саду (*фр.*).

А третье – занавес раздвигается: стул. И за стулом, держась за спинку – Сонечка. И вот рассказывает, робея и улыбаясь, про бабушку, про жильца, про бедную их жизнь, про девичью свою любовь. Так же робея и улыбаясь и сверкая глазами и слезами, как у меня в Борисоглебском рассказывая об Юрочке – или об Евгении Багратионовиче – так же не играя, или так же всерьез, насмерть играя, а больше всего играя – концами кос, кстати никогда не перевязанных лентами, самоперевязанных, самоперекрученных природно, или прядями у висков играя, отстраняя их от ресниц, забавляя ими руки, когда те скучали от стула. Вот эти концы кос и пряди у висков – вся и Сонечкина *игра*.

Думаю, что даже платице на ней было не театральное, не нарочное, а собственное, летнее, – шестнадцатилетнее, может быть?

– Ходил на спектакль Второй студии. Видал Вашу Сонечку...

Так она для всех сразу и стала моей Сонечкой, – такая же *моя*, как мои серебряные кольца и браслеты – или передник с монистами – которых никому в голову не могло прийти у меня оспаривать – за никому, кроме меня, не-нужностью.

Здесь уместно будет сказать, потому что потом это станет вживе, что я к Сонечке сразу отнеслась еще и как к любимой вещи, подарку, с тем чувством радостной собственности, которого у меня ни до, ни после к человеку не было – никогда, к любимым вещам – всегда. Даже не как к любимой книге, а именно – как кольцу, наконец, попавшему на нужную руку, вопиюще – моему, еще в том кургане – моему, у того цыгана – моему, кольцу так же мне радующемуся, как я – ему, так же за меня держащемуся, как я за него – самодержащемуся, неотъемлемому. Или уж – вместе с пальцем! Отношения этим не исчерпываю: плюс вся любовь, только мыслимая, еще и это.

Еще одно: меня почему-то задевало, раздражало, оскорбляло, когда о ней говорили Софья Евгеньевна (точно она взрослая!), или просто Голлидэй (точно она мужчина!), или даже Соня – точно на Сонечку не могут разориться! – я в этом видела равнодушие и даже бездушие. И даже бездарность. Неужели они (они и *оне*) не понимают, что она – именно Сонечка, что иначе о ней – грубость, что ее нельзя – *не* ласкательно. Из-за того, что Павлик о ней говорил Голлидэй (начав с Инфанты!), я к нему охладела. Ибо не только Сонечку, а вообще любую женщину (которая *не* общественный деятель) звать за глаза по фамилии – фамильярность, злоупотребление отсутствием, снижение, обращение ее в мужчину, звать же за глаза – ее детским именем – признак близости и нежности, не могущий задеть материнского чувства – даже императрицы. (Смешно? Я была на два, на три года старше Сонечки, а обижалась за нее – как мать.)

Нет, все любившие меня: читавшие во мне называли ее мне – Сонечка. С почтительным добавлением – *ваша*.

Но пока она еще стоит перед нами, взявшись за спинку стула, настоим здесь на ее внешности – во избежание недоразумений:

На поверхностный взгляд она, со своими ресницами и косами, со всем своим алым и каштановым, могла показаться хохлушкой, малороссияночкой. Но – только на поверхностный: ничего типичного, национального в этом личике не было – слишком тонка была работа лица: работа – мастера. Еще скажу: в этом лице было что-то от раковины – так раковину работает океан – от раковинного завитка: и загиб ноздрей, и выгиб губ, и общий завиток ресниц – и ушко! – все было резное, точеное – и одновременно льющееся – точно эту вещь *работали* и ею же – *играли*: не только Океан работал, но и волна – играла. Je n'ai jamais vu de perle rose, mais je soutiens que son visage était plus perle et plus rose⁵.

Как она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было. Значит – весной. Весной 1919 г., и не самой ранней, а вернее – апрельской, потому что с нею у меня связаны уже

⁵ Я никогда не видела розового жемчуга, но утверждаю, что ее лицо было еще розовее и еще жемчужнее (*фр.*).

оперенные тополя перед домом. В пору первых зеленых листиков.

Первое ее видение у меня – на диване, поджав ноги, еще без света, с еще-зарей в окне, и первое ее слово в моих ушах – жалоба: – Как я вас тогда испугалась! Как я боялась, что вы его у меня отымете! Потому что не полюбить – вас, Марина, не полюбить вас – на коленях – немисливо, несбыточно, просто (удивленные глаза) – глупо? Потому я к *вам* так долго и не шла, потому что *знала*, что вас так люблю, вас, которую любит он, из-за которой он меня не любит, и не знала, что мне делать с этой своей любовью, потому что я вас *уже* любила, с первой минуты тогда, на сцене, когда вы только опустили глаза – читать. А потом – о, какой нож в сердце! какой нож! – когда он к вам *последний* подошел, и вы с ним рядом стояли на краю сцены, отгородившись от всего, одни, и он вам что-то тихонько говорил, а вы так и не подняли глаз, – так что он совсем *в вас* говорил... Я, Марина, правда не хотела вас любить! А теперь – мне все равно, потому что теперь для меня его нет, есть *вы*, Марина, и теперь я сама вижу, что он *не мог* вас любить, потому что – если бы мог вас любить – он бы не репетировал без конца «Святого Антония», а Святым Антонием бы – был, или не Антонием, а вообще святым...

– Юрием.

– Да, да, и вообще бы никогда бы не обедал и не завтракал. И ушел бы в Армию.

– Святым Георгием.

– Да. О, Марина! Именно Святым Георгием, с копьем, как на кремлевских воротах! Или просто бы *умер* от любви.

И по тому, как она произнесла это *умер* от любви, видно было, что она сама – от любви к нему – и ко мне – и ко *всему* – умирает; революция-не революция, пайки-не пайки, большевики-не большевики – все равно умрет от любви, потому что это ее призвание – и назначение.

– Марина, вы меня всегда будете любить? Марина, вы меня *всегда* будете любить, потому что я *скоро* умру, я совсем не знаю отчего, я так люблю жизнь, но я знаю, что скоро умру, и потому, потому все так *безумно, безнадежно* люблю... Когда я говорю: Юра – вы не верьте. Потому что я знаю, что в других городах... – Только вас, Марина, нет в других городах, а – их!... – Марина, вы когда-нибудь думали, что вот сейчас, в эту самую минуту, в эту самую сию-минуточку, где-то, в портовом городе, может быть на каком-нибудь острове, всходит на корабль – тот, кого вы могли бы любить? А может быть – сходит с корабля – у меня это почему-то всегда матрос, вообще моряк, офицер или матрос – все равно... сходит с корабля и бродит по городу и ищет вас, которая здесь, в Борисоглебском переулке. А может быть, просто проходит по Третьей Мещанской (сейчас в Москве ужасно много матросов, вы заметили? За пять минут – все глаза растеряешь!), но Третья Мещанская, это так же далеко от Борисоглебского переулка, как Сингапур... (Пауза.) Я в школе любила только географию – конечно, не все эти широты и долготы и градусы (меридианы – любила), – имена любила, названия... И самое ужасное, Марина, что городов и островов много, полный земной шар! – и что на каждой точке этого земного шара – потому что шар только на вид такой маленький и точка только на вид – точка – тысячи, тысячи тех, кого я могла бы любить... (И я это всегда говорю Юре, в ту самую минуту, когда говорю ему, что кроме него не люблю никого, говорю, Марина, как бы сказать, тем-самым ртом, тем-самым полным ртом, тем-самым полным *им* ртом! потому что и *это* правда, потому что *оба* – правда, потому что это одно и то же, я это знаю, но когда я хочу это доказать – у меня чего-то не хватает, ну – как не можешь дотянуться до верхней ветки, потому что вершка не хватает! И мне тогда кажется, что я схожу с ума...)

Марина, кто изобрел глобус? Не знаете? Я тоже ничего не знаю – ни кто глобус, ни кто карты, ни кто часы. – Чему нас в школе учат?!! – Благословляю того, кто изобрел глобус (наверное какой-нибудь старик с длинной белой бородой...) – за то, что я могу сразу этими двумя руками обнять весь земной шар – со всеми моими любимыми!

«...Ни кто – часы...»

Однажды она у меня на столе играла песочными часами, детскими пятиминутными: стеклянная стопочка в деревянных жердочках с перехватом-талией – и вот, сквозь эту «талию» – тончайшей струечкой – песок – в пятиминутный срок.

– Вот еще пять минуточек прошло... (Потом безмолвие, точно никакой Сонечки в комнате нет, и уже совсем неожиданно, нежданно:) – сейчас будет последняя, после-едняя! песчиночка! Все!

Так она играла – долго, нахмутив бровки, вся уйдя в эту струечку. (Я – в нее.) И вдруг – отчаянный вопль: – О, Марина! Я пропустила! Я – вдруг – глубоко – задумалась и не перевернула вовремя, и теперь я никогда не буду знать, который час. Потому что – представьте себе, что мы на острове, кто нам скажет, *откуда* нам знать?!

– А корабль, Сонечка, приезжающий к нам за кораллами? За коралловым ломом? – Пиратский корабль, где у каждого матроса по трое часов и по шести цепей! Или – проще: с нами после кораблекрушения спасся – кот. А я еще с детства-и-отрочества знаю, что «Les Chinois voient l'heure dans l'oeil des chats»⁶. У одного миссионера стали часы, тогда он спросил у китайского мальчика на улице, который час. Мальчик быстро куда-то сбегал, вернулся с огромным котом на руках, поглядел ему и глаза и ответил: – Полдень.

– Да, но я про эту струечку, которая одна знала срок и ждала, чтобы я ее – перевернула. О, Марина, у меня чувство, что я кого-то убила!

– Вы *время* убили, Сонечка:

Который час? его спросили *здесь*,
А он ответил любопытным: – Вечность.

– О, как это чудесно! Что это? Кто этот *он* и это *правда* – было?

– Он, это с ума сшедший поэт Батюшков, и это, правда, было.

– Глупо у поэта спрашивать время. Без-дарно. Потому он и сошел с ума – от таких глупых вопросов. Нашли себе часы! *Ему* нужно говорить время, а не у него – спрашивать.

– Не то: он уже был на подозрении безумия и хотели проверить.

– И опозорились, потому что это ответ – гения, чистого духа. А вопрос – студента-медика. Дурака. (Поглаживая указательным пальчиком круглые бока стопочки.) Но, Марина, представьте себе, что я была бы – Бог... нет, не так: что вместо меня Бог бы держал часы и забыл бы перевернуть. Ну, задумался на секундочку – и – *кончено* время.

...Какая страшная, какая чудная игрушка, Марина. Я бы хотела с ней спать...

Струечка... Секундочка... Все у нее было уменьшительное (*умалительное, умолительное, умилительное...*), вся речь. Точно ее малenькоcть передалась ее речи. Были слова, словца в ее словаре – может быть и актерские, актрисинские, но, Боже, до чего это иначе звучало из ее уст! например – манерочка. «Как я люблю вашу Алю: у нее такие особенные манерочки...»

Манерочка (ведь шаг, *знак* до «машерочка»!) – нет, не актрисинское, а институтское, и недаром мне все время чудится, ушами слышится: «Когда я училась в институте...» Не могла гимназия не только дать ей, но не взять у нее этой – старинности, старомодности, этого старинного, век назад, какого-то осьмнадцатого века, девичества, этой насущности обожания и коленопреклонения, этой страсти к несчастной любви.

Институтка, потом – актриса. А может быть институтка, гувернантка и потом – актриса. (Смутно помнятся какие-то чужие дети...)

– Когда Аля вчера просила еще посидеть, сразу не идти спать, у нее была такая трогательная гримасочка...

Манерочка... гримасочка... секундочка... струечка... а сама была... девочка, которая ведь

⁶ Китайцы узнают время по кошачьим глазам (*фр.*).

тоже – уменьшительное.

– Мой отец был скрипач, Марина. *Бедный* скрипач. Он умер в больнице, и я каждый день к нему ходила, ни минуточки от него не отходила, – он только мне одной радовался. Я вообще была его любимицей. (Обманывает меня или нет – память, когда я слышу: придворный скрипач? Но какого двора – придворный? Английского? Русского? Потому что – я забыла сказать – Голлидэй есть английское Holliday – воскресенье, праздник.

Сонечка *Голлидэй*: это имя было к ней привязано – как бубенец!)

– Мои сестры, Марина, красавицы. У меня две сестры, и обе красавицы. Высокие, белокурые, голубоглазые – настоящие леди. Это я – такая дурнушка, чернушка...

Почему они не жили вместе? Не знаю. Знаю только, что она непрерывно была озабочена их судьбою – и делом заботилась. – Нужно много денег, Марина, нужно, чтобы у них были *хорошие* платья и обувь, потому что они (с глубоким придыханием восторга) – красавицы. Они высокие, Марина, стройные – это я одна такая маленькая. – И вы, такая маленькая, младшая, должны... – Именно потому, что такая маленькая. Мне, не-красавице, мало нужно, а красавицам – всегда – во всех сказках – много нужно. Не могут же они одеваться – как я!

(Белая блузка, черная юбка или белое платье – в другом ее не помню.)

Однажды в какой-то столовой (воблиный суп с перловой крупой, второе сама вобла, хлеба не было, Сонечка отдала Але свой) она мне их показала – сидели за столиком, ей с высоты английских шей кивнули (потом она к ним побежала) – голубоглазые, фарфоровые, златоволосые, в белых, с выгибом, великокняжнинских шляпах...

– Гляди, Алечка, видишь – эти две дамы. Это мои сестры. Правда, они – красавицы?

– Вы – лучше.

– Ах ты, дитя мое дорогое! Это *тебе* лучше, потому что ты меня любишь.

– Я потому вас люблю, что вы лучше всех.

Ребенок, обезоруженный ребенком, смолк.

Повинуясь, очевидно, закону сказки – иначе этого, с моей страстью к именам, не объяснишь – я так и не спросила у нее их имен. Так они у меня и остались – сестры. Сестры – Золушки.

Мать помню как Сонечкину *заботу*. Написать маме. Послать маме. Должно быть, осталась в Петербурге, откуда родом была сама Сонечка. Недаром ее «Белые ночи». – Я же знаю, Марина, я сама так ходила, сама так любила... Когда я в первый раз их прочла... Я *никогда* не читала их в первый раз! Только я в «Белых ночах», не только она, но еще и *он*, тот самый мечтатель, так никогда и не выбравшийся из белой ночи... Я ведь всегда двоюсь, Марина, не я – двоюсь, а меня – два, двое: даже в любви к Юре: я – я, и я – еще и он, Юра: все его мысли думаю, еще не сказал – знаю (оттого и не жду ничего!) – мне смешно сказать: когда я – он, мне самой лень меня любить...

Только с Вами, Марина, я – я, и – еще я.

А верней всего, Марина, я – все, кто белой ночью так любят, и ходят, и бродят... Я сама – белая ночь...

Обнаружила я ее Петербург сразу, по ее «худо» вместо московского «плохо». – А это очень худо? – Что? – Говорить «худо», – и сама смеется. – Для вашего худа, Сонечка, одна рифма – худо.

Кто и откуда,
Милое чудо?

Так возникла Розанэтта из моей «Фортуны» (Лозэна), так возникла вся последняя сцена «Фортуны», ибо в этом: – Кто и откуда? – уже весь приказ Розанэтте (Сонечке) быть,

Розанэтте, дочке привратника, которая:

...Я за последней волею прислана.
Может, письмо Вам угодно оставить родным,
Может быть, локон угодно отрезать на память.
Все, что хотите – просите! Такой уж день:
Всё Вам позволено нынче!

О, какая это была живая Сонечка, в этом – *все*, говоримом за час перед казнью, в этом часе, даримом и творимом, в этом последнем любовном и последнем жизненном часе, в предсмертном часе, вмещающем *всю* любовь.

В этом – Розанэтта – имени.

(Сонечка! Я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя влюбились – все мужчины, изревновались к тебе – все жены, исстрадались по тебе – все поэты...)

Началась Сонечка в моих тетрадях с ее жалобного, в первый приход ко мне, возгласа: – О, Марина! (Эта умница ни разу не назвала меня «Ивановна», как с «Белыми Ночами», сразу – второй (тысячный) раз.) Как я бы вашу Даму в «Метели» – сыграла. Как я знаю каждое движение, каждую интонацию, каждый перерыв голоса, каждую паузу – *каждое* дыхание... Так, Марина, как я бы – ее *никто* не сыграет. Но я не могу – я такая маленькая...

Не ростом – не только ростом – мало ли маленьких! – и маленькость ее была самая обыкновенная – четырнадцатилетней девочки – ее беда и прелесть были в том, что она этой четырнадцатилетней девочкой – *была* ... А год был – Девятнадцатый. Сколько раз – и не стыжусь этого сказать – я за наш с ней короткий век жалела, что у нее нет старого любящего просвещенного покровителя, который бы ее в своих старых руках держал, как в серебряной оправе... И одновременно бы ею, как опытный штурман, правил... Моей маленькой лодочкой – большого плаванья... Но таких в Москве Девятнадцатого года – не было.

(Знаю, знаю, что своей любовью «эффект» «ослабляю», что читатель хочет сам любить, но я тоже, как читатель, хочу сама любить, я, как Сонечка, хочу «сама любить», как собака – хочу сама любить... Да разве вы еще не поняли, что мой хозяин – умер и что я за тридцать земель и двудесять лет – просто – вою?!)

...Ни малейшего женского кокетства. Задор – мальчишки (при предельно-женственной, девической, девчонческой внешности), лукавство – *lutin*⁷. Вся что немцы называют «Einfall»⁸. (Сонечка, я для тебя три словаря граблю! Жаль, английского не знаю – там бы я много для тебя нашла. А – в испанском!..)

Ряд видений: Наташа Ростова на цветочной кадке: «Поцелуйте куклу!»... Наташа Ростова, охватив колена, как индус, как пес, поющая на луну, пением уносимая с подоконника... Огаревская Консуэла, прощающаяся с герценовской Наташей у дилижанса... Козэтта с куклой и Фантина с Козэттой... Все девические видения Диккенса... Джульетта... Мирэй... Миньона, наконец, нет, даже *он*: *Mignon*, – тот мальчик арфист, потом ставший Миньонкой, которого с какой-то своей *Wanderung*⁹ привел домой к матери юноша, ставший – Гёте.

(Знаю, что опять ничего не даю (и много – беру), однажды даже вычеркнула это место из рукописи, но они меня так теснят, обступают, так хотят через Сонечку еще раз – быть...)

⁷ Шаловливость (*фр.*).

⁸ «Причуда» (*нем.*).

⁹ Поездка (*нем.*).

Но главное имя – утаиваю. И прозвучит оно только в стихах – или нигде.

И вот, потому что ни одной моей взрослой героиней быть не могла – «такая маленькая» – мне пришлось писать маленьких. Маленьких девочек. Розанэтта в «Фортуне», девчонка в «Приключении», Франческа в «Конце Казановы» – все это Сонечка, она, живая, – не вся, конечно, и попроще, конечно, ибо, по слову Гейне, поэт неблагоприятен для театра и театр неблагоприятен для поэта – но всегда живая, если не вся – она, то всегда – она, никогда: не-она.

А один свой стих я все-таки у нее – украла: у нее, их не писавшей, в жизни не написавшей ни строки, – я, при всей моей безмерной, беспримерной честности – да, украла. Это мой единственный в жизни плагиат.

Однажды она, рассказывая мне о какой-то своей обиде:

– О, Марина! И у меня были такие большие слезы – крупнее глаз!

– А вы знаете, Сонечка, я когда-нибудь это у вас украду в стихи, потому что это совершенно замечательно – по точности и...

– О, берите, Марина! Все, что хотите – берите! Все мое берите в стихи, всю берите! Потому что в *ваших* руках *все* будет жить – вечно! А что от меня останется? Несколько поцелуев...

И вот, три года спустя (может быть, кто знает, день в день) стих:

В час, когда мой милый брат
Миновал последний вяз
(Вздохов мысленных: – Назад!)
Были слезы – большие глаз.

В час, когда мой милый друг
Огибал последний мыс
(Вздохов мысленных: – Вернись!)
Были взмахи – большие рук.

Руки прочь хотят – от плеч!
Губы вслед хотят – зажать!
Звуки растеряла речь,
Пальцы растеряла пясть.

В час, когда мой милый гость...
– Господи, взгляни на нас! —
Были слезы большие глаз
Человеческих – и звезд
Атлантических...

(А атлантические звезды горят над местечком, Ласапau-Осеан, где я свою Сонечку – пишу, и я, глядя на них вчера, в первом часу ночи, эти строки вспомнила – наоборот: что на океане *звезды* больше глаз! Вот и сошелся круг.)

Эти стихи написаны и посланы Борису Пастернаку, но автор и адресат их – Сонечка.

И последний отблеск, отзвук Сонечки в моих писаниях – когда мы уже давно, давно расстались – в припеве к моему «Молодцу»: – А Маруся лучше всех! (краше всех, жарче всех...) – в самой Марусе, которая, цветком восстав, пережила самую смерть, но и бессмертье свое отдаст, чтобы вместе пропасть – с любимым.

– Марина, вы думаете, меня Бог простит – что я так многих целовала?

– А вы думаете – Бог считал?

– Я – тоже не считала.

...А главное я всегда целую – первая, так же просто, как жму руку, только – неудержимее. Просто никак не могу дождаться! Потом, каждый раз: – Ну, кто тебя тянул? Сама виновата! Я ведь знаю, что это никому не нравится, что все они любят кланяться, кланчить, искать случая, добиваться, охотиться... А главное – я терпеть не могу, когда другой целует – первый. Так я по крайней мере знаю, что я этого хочу.

– Марина, я никогда не могла понять (и себя не понимаю), как можно – только что целовавшись – говорить молитву. Теми же губами... Нет, не теми! Я, когда молюсь – никогда не целовалась и когда целуюсь – никогда не молилась.

– Сонечка! Сонечка! От избытка сердца целуют уста *ваши*.

Мы с ней никогда не целовались: только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимала ее за плечи, жестом защиты, охраны, старшинства. (Я была года на три старше, по существу же – на всю себя. Во мне никогда ничего не было от «маленькой».)

Братски обнимала.

Нет, это был сухой огонь, чистое вдохновение, без попытки разрядить, растратить, осуществить. Беда без попытки помочь. Вот об этом мой французский рассказ одному моему французскому другу, пятнадцать лет спустя. Друг прошел, рассказ остался. *Пусть останется.*

– Je ne me souviens pas de l'avoir embrassée hors le baiser usuel, presque machinal du bonjour et de l'adieu. Ce n'était pas de la mauvaise – ou bonne – honte, c'était – mais la même chose qu'avec le «tu»: je l'aimais trop, tout était moins.

Car un baiser, quand on n'aime pas – dit tellement plus, et quand on aime – dit tellement moins, est tellement moins. Boire pour reboire encore. Le baiser en amour c'est l'eau de mer dans la soif. (Eau de mer ou sang – bon pour les naufrages!) Si cela a déjà été dit – je le redis. L'important, ce n'est pas de dire du neuf, c'est de trouver seul et de dire vrai.

J'aimais mieux garder ma soif entière.

Et – une chose qui n'a sûrement, par sa simplicité même, jamais été écrite: le baiser en amour c'est le mauvais chemin menant à l'oubli de l'autre. De l'aime, non à l'aime. Commenant par baiser une âme, on continue par baiser une bouche et on finit par baiser – le baiser. Aneantissement.

Mais je l'embrassais souvent de mes bras, fraternellement, protectionnellement, pour la cacher un peu à la vie, au froid, à la nuit. C'était la Revolution, donc pour la femme: vie, froid, nuit.

...Ma petite enfant que je n'ai jamais laissée rentrer seule.

Et simplement je n'y avais jamais pensé – qu'il y avait – за, cette possibilité entre gens comme nous. (Cette impasse.) Ce n'est que maintenant, quinze ans après que j'y ai pensé, pleine de gratitude de n'y avoir alors pas même pensé¹⁰.

¹⁰ Не помню, чтобы я ее целовала, кроме поцелуев обычных, почти машинальных, при встрече и прощании. И вовсе не из-за дурной – или хорошей – стыдливости; это было – так же, как с «ты»: я слишком любила ее, все прочее было меньше.

Ибо когда не любят, поцелуй говорит настолько больше, а когда любят – настолько меньше; сам по себе он недостаточен. Пить, чтобы пить вновь. Поцелуй в любви – это морская вода во время жажды. (Морская вода или кровь – хороши для потерпевших кораблекрушение!) Если это уже было сказано – повторю. Потому что главное – не новое сказать, а найти единственно верное слово.

Я предпочитала не утолять жажду вообще.

И еще одна вещь, о которой никогда не писали, несмотря на ее очевидность: поцелуй и любви – дурной путь, ведущий к забвению. От любимого, но не к любимому. Начинают с поцелуя души, продолжают поцелуем уст и кончают поцелуем – поцелуя. Уничтожением. Но я часто обнимала ее братски, покровительственно, чтобы немного оградить от быта, от холода, от ночи.

Революция для женщины и есть: быт, холод, ночь.

...Моя малютка, которой я не позволяла возвращаться одной.

Да я просто не думала об этом – ибо оно было – эта реальность между такими, как мы. (Эта безысходность.) Только теперь, спустя пятнадцать лет, я вспоминаю обо всем, исполненная благодарности за то, что тогда все

Сонечка жила в кресле. Глубоком, дремучем, зеленом. В огромном зеленом кресле, окружавшем, обступавшем, обнимавшем ее, как лес. Сонечка жила в зеленом кусту кресла. Кресло стояло у окна, на Москва-реке, окруженное пустырями – просторами.

В нем она утешалась от Юры, в нем она читала мои записочки, в нем писала мне свои, в нем учила свои монологи, в нем задумчиво грызла корочку, в нем неожиданно, после всех слез и записочек – засыпала, просыпала в нем всех Юр, и Вахтангов, и Вахтанговых...

C'etail son lit, son nid, sa niche...¹¹

К Сонечке идти было немножко под гору, под шум плотины, мимо косого забора с косее его бревен надписью: «Исправляю почерк»... (В 1919 году! Точно другой заботы не было! Да еще – такими буквами!)

Стоит дом. В доме – кресло. В кресле – Сонечка. Поджав ноги, как от высящейся воды прилива. (Еще немножко – зальет.) Ножки спрыгивают, ручки – навстречу: – Марина! Какое счастье!

Заботливо разгружает меня от кошелки и черезплечной сумки. Сонечку не нужно убеждать не-сажать меня в кресло: знает твердость моего нрава – и навыков. Сажусь на окно. Подоконник низкий и широкой. За ним – воля. За спиной – воля, перед глазами – любовь.

– Марина! Я нынче была у ранней обедни и опять так плакала (деловито, загибая в ладонь пальчики): – Юра меня не любит, Вахтанг Леванович меня не любит, Евгений Багратионович меня не любит... А мог бы! хотя бы, как дочь, потому что я – Евгеньевна, – в Студии меня не любят...

– А – я?!

– О – *вы!* Марина, вы меня *всегда* будете любить, не потому что я такая хорошая, а потому что не успеете меня разлюбить... А Юра – уже успел, потому что я сама не успела... умереть.

(Любить, любить... Что она думала, когда все так говорила: любить, любить?..)

Это напоминает мне один мой собственный, тогда же, вопрос солдату бывшего полка Наследника, рассказывавшему, как спасал знамя:

– Что вы чувствовали, когда спасали знамя?

– А – ничего не чувствовал: есть знамя – есть полк, нет знамени – нет полка.

(Есть любовь – есть жизнь, нет любви...)

Сонечкино любить было – быть: *небыть* в другом: сбыться.)

Сжалась в комочек, маленькая, лица не видно из-за волос, рук, слез, прячется сама в себе – от всего (как владимирская нянька Надя про мою дочь Ирину:) – угнеживается... А вокруг и над и под – лес, свод, прилив кресла.

По тому, как она в него вгребалась, вжималась, видно было, до чего нужно было, чтобы кто-нибудь держал ее в сильных широких любящих старших руках. (Ведь кресло – всегда старик.)

Но Сонечке в кресле видна была вся любящность ее натуры. (Натура – слово *ее* словаря, странно-старинного, точно переводного из Диккенса.) Ибо вжималась в него не как кошка в бархат, а как живой в живое.

Поняла: она у него просто сидела на коленях!

Чтобы немножко развлечь ее, отвлечь ее от Юры, рассказываю, насказываю ей, как вчера ходили с Алей пешком на Воробьевы горы, как я, посреди железнодорожного моста, завидев сквозь железные перекладыны – воду, от страха – села, как Аля заговаривала моему страху зубы тут же изобретенной историей: как мост тут же раздался, и мы с ней тут же упали в воду, но не потонули, потому что нас в последнюю минуту поддержали ангелы, а поддержали – потому что в последнюю минуту узнали, что «эта дама с солдатской сумкой

это не приходило мне в голову (*фр.*).

¹¹ Оно было ее постелью, ее гнездом, ее конурой... (*фр.*) .

через плечо» – поэт, а эта девочка с офицерскими пуговицами – ее дочь, и как ангелы на руках отнесли нас на ярмарку, и потом с нами катались на карусели, «Вы, Марина, со своим ангелом на льве, а я со своим на баране...» и как потом эти ангелы отнесли нас в Борисоглебский переулок, и остались с нами жить, и топили нам плиту, и воровали нам дрова... «потому что эти ангелы были не ангелы, а... вы сами, Марина, знаете, *какие* это были ангелы...»

И как мы, с Алиной и ангельской помощью, действительно перешли мост и действительно катались на карусели: я – на льве, она – на баране... и как я ей тут же, за хороший перевод через мост, покупаю на лотке какую-то малиновую желатиновую трясу, и как она ее истово, наподобие просфоры, ест, и как потом нас перевозят через реку не ангелы, а двое мужиков в красных рубахах, в одном из которых она узнает своего обожаемого Вожатого из «Капитанской Дочки» – и так далее – и так далее... – до Сонечкиного просветления – потом – смеяния – потом сияния...

– Марина, я тогда играла в провинции. А летом в провинции – всегда ярмарки. А я до страсти люблю всякое веселье. Бедное. С розовыми петухами и деревянными кузнецами. И сама ходила в платочке. Розовом. Как надела – ну, просто чувство, что в нем родилась. Но у меня во всем это чувство, от всего: и в косынке и в огромной белой шляпе моих сестер... я иногда думаю: хоть корону надень! – но нет, провалится: ведь у меня ужасно маленькая голова: смехотворная – нет, нет, не говорите! Это – *волосы*, а попробуйте меня обрить! Говорю Вам: *ничего* не останется!.. Марина, вы бы меня любили бритую? Впрочем, вы уже меня любите – бритую, потому что перед вами всякий – бритый, перед вами даже Юрочка – бритый, нет, полубритый: арестант! – Марина, я страшно-много говорю? Неприлично-много, и сразу обо всем, и обо всем – всё сразу? Вы знаете, нет минуты, когда бы мне *не* хотелось говорить, даже когда плачу: плачу – навзрыд, а сама говорю! Я и во сне все время говорю: спорю, рассказываю, доказываю, а в общем – как ручей по камням – бессмыслица, Марина! Меня же *никто* не слушает. Только вы. Ах, Марина! Первый человек, которого я любила – он был гораздо старше меня, больше чем вдвое, и у него уже были взрослые дети – за это и любила – и он был *очень* снисходительный, никогда не сердился, даже *он* мне, часто, шутя, с упреком: – Ах, Соня! Неужели вы не понимаете, что есть минуты, – когда *не нужно* говорить?

А я – продолжала – не переставала – не переставая говорила – мне всё время всё приходит в голову, всё сразу – и такое разное. Я иногда жалею, что у меня только один голос зараз... Ой, Марина, вот я и договорилась до чревоушателя!

(Да, она «страшно много» говорила. О ней царицыно любимое слово в тобольских письмах: «Дети болтают, как водопады...»)

...Так – про ту ярмарку. Раз иду в своем платочке и из-под платочка – вижу: громадная женщина, даже баба, бабища в короткой малиновой юбке с блестками под шарманку – танцует. А шарманку вертит – чиновник. Немолодой уже, зеленый, с красным носом, с кокардой. (Нос сам вроде кокарды.) Тут я его страшно пожалела: бедный! должно быть, с должности прогнали за пьянство, так он – с голоду... А оказалось, Марина, от любви. Он десять лет тому назад, где-то в своем городе, увидел ее на ярмарке, и она тогда была молоденькая и тоненькая и должно быть страшно трогательная. И он сразу в нее влюбился (а она в него – нет, потому что была уже замужем – за чревоушателем), и с утра стал пропадать на ярмарке, а когда ярмарка уехала, он тоже уехал, и ездил за ней всюду, и его прогнали с должности, и он стал крутить шарманку, и так десять лет и крутит, и не заметил, что она разжирела – и уже не красивая, а страшная... Мне кажется, если бы он крутить – перестал, он бы сразу все понял – и умер.

Марина, я сделала ужасную вещь: ведь его та женщина ни разу не поцеловала – потому что, если бы она его хоть раз поцеловала, он бы крутить перестал: он ведь этот поцелуй выкручивал! – Марина! я перед всем народом... Подхожу к нему, сердце колотится: – «Не сердитесь, пожалуйста, я знаю вашу историю: как вы все бросили из-за любви, а так как я сама такая же...» – и перед всем народом его поцеловала. В губы.

Вы не думайте, Марина, я себя – заставила, мне очень не хотелось, и неловко, и страшно: и его страшно, и ее страшно, и... просто не хотелось! Но я тут же себе сказала: – Завтра ярмарка уезжает, – раз. Сегодня последний срок, – два. Его никто в жизни не целовал, – три. И уже не поцелует, – четыре. А ты всегда говоришь, что для тебя выше любви нет ничего, – пять. Докажи, – шесть. И – *есть*, Марина, поцеловала! Это был мой единственный трудный поцелуй за всю жизнь. Но не поцелуй я его, я бы уж никогда не посмела играть Джульетту.

– Ну. а он?

– Он? (С веселым смехом):

Стоит как громом пораженный —
Евгений...

Да я и не смотрела. Пошла, не оглядываясь. Должно быть – до сих пор стоят... Десять лет, десять лет пыльных площадей и пьяных мужиков, а поцеловала – все-таки не та!

А вот еще, Марина, история – про моряка Пашу...

Где история про моряка Пашу, о котором у меня в записной книжке весны 1919 г. только запись: «Рассказ Сонечки Голлидэй про моряка Пашу» – а рядом свободный листок для вписания так и не вписанного. Пропал моряк Паша! Заплыл моряк Паша!

О, кресло историй, исповедей, признаний, терзаний, успокоений...

Вторым действующим лицом Сонечкиной комнаты был – сундук, рыжий, кожаный, еще с тех времен, когда Сонечкин отец был придворным музыкантом. – Сонечка, что в нем? – Мое приданое! (какое – потом узнаем). Потому что я потом когда-нибудь непременно выйду замуж! По самому серьезному: с предложением, с отказом, с согласием, с белым платьем, с флер д'оранжем, с фатою... Я ненавижу венчаться... в штатском! Вот так взять и зайти, только зубы наспех почистив, а потом через месяц объявить: – Мы уже год как женаты. Это без-дарно. Потому что – и смущаться нужно, и чокаться нужно, и шампанское проливать, и я хочу, чтобы меня поздравляли – и чтобы подарки были – а главное – чтобы плакали! О, как я буду плакать, Марина! По моему Юрочке, по Евгению Багратиону, по Театру, по всему, всему *тому*, потому что тогда уже – кончено: я буду любить только его.

Третьим действующим лицом Сонечкиной комнаты был – порядок. Немыслимый, несбыточный в Революции. Точно здесь три горничных работали, сметая и сдувая. Ни пылинки, ни соринки, ничего сдвинутого. Ни одной (моей или Юриной) записочки. Или все – под подушкой? Это была комната институтки на каникулах, гувернантки на кондициях, комната – сто, нет – двести лет назад. Или еще проще – матросская каюта: порядок, не как отсутствие, а как присутствие. В этой комнате живет порядок. Как гардемарин стоит навтыжку.

И никто на нее не работал. Марьюшка весь день стояла по очередям за воблой и постным маслом (и еще одной вещью, о которой – потом!). А вернувшись, эту воблу – об стенку била. Все – Сонечка, самолично, саморучно.

Поэтому меня особенно умиляла ее дружба со мною, ее искреннее восхищение моим странным и даже страшным домом – где все было сдвинуто – раз навсегда, то есть непрерывно и неостановимо сдвигалось, все дальше и дальше – пока не уходило за пределы стен: в подарок? в покражу? в продажу?

Но прибавлю, что всем детям, особенно из хороших домов, всегда нравился мой дом (все тот же по нынешний день), его безмерная свобода и... сюрпризность: вот уже *boote a surprises*¹², с возникающими из-под ног чудесами – гигантская *boote*, с бездной вместо дна, неустанно подающей все новые и новые предметы, зачастую – *sans nom*¹³...

¹² Коробкой сюрпризов (*фр.*).

¹³ Безымянные (*фр.*).

Сонечке мой дом *детски* нравился, как четырнадцатилетнему ребенку, которым она была.

Чтобы совсем все сказать о моем доме: мой дом был – диккенсовский: из «Лавки древностей», где спали на сваях, а немножко из «Оливера Твиста» – на мешках. Сонечка же сама – вся – была из Диккенса: и Крошка Доррит – в долговой тюрьме, и Копперфильдова Дора со счетной книгой и с собачьей пагодой, и Флоренса, с Домби-братом на руках, и та странная девочка из «Общего друга», зазывающая старика еврея на крышу – *небыть*: – Montez! Montez! Soyez mort! Soyez mort!¹⁴ – и та, из «Двух городов», под раздуваемой грозой кисеею играющая на клавесине и в стуче первых капель ливня слышащая топот толп Революции...

Диккенсовские девочки – все – были. Потому что я встретила Сонечку.

Сонечкина любовь к моему дому был голос крови: атавизм.

(Диккенс в транскрипции раннего Достоевского, когда Достоевский был еще и Гоголем: вот моя Сонечка. У «Белых Ночей» – три автора. Мою Сонечку писали – три автора.

Как ей было не *суметь* – Белых Ночей?!)

Приходила я к ней всегда утром, – заходила, забегала одна, без детей. Поэтому ее комнату помню всегда в сиянии – точно ночи у этой комнаты не было. Золото солнца на зелени кресла и зелень кресла в темном золоте паркета.

– Ах, Сонечка, взять бы вас вместе с креслом и перенести – в другую жизнь. Опустить, так с него и не сняв, посреди Осьмнадцатого века – вашего века, когда от женщины не требовали мужских принципов, а довольствовались – женскими добродетелями, не требовали идей, а радовались – чувствам, и во всяком случае – радовались поцелуям, которыми вы в Девятнадцатом году всех только пугаете.

Чтобы с вашего кресла свешивались не эти вот две квадратных железных необходимости, а – туфельки, и чтобы ступали они не по московскому булыжнику, а – вовсе не ступали, чтобы их подошвы были – как у еще не ходивших детей.

Ибо вы (все искала вам подходящего слова – драгоценность? сокровище? *joyau*? *bijou*) – Kleinod!¹⁵ и никто этого в Москве Девятнадцатого Года – не видит, кроме меня, которая для вас – ничего не может.

– Ах, Марина! Мне так стыдно было перед ним своих низких квадратных тупоносых ног!

Перед «ним» – на этот раз не перед Юрой. Сонечка в мою жизнь вошла вместе с моим огромным горем: смертью Алексея Александровича Стаховича, в первые дни его посмертья. Кто для меня был Алексей Александрович Стахович – я уже где-то когда-то рассказывала, здесь дам только свои неизданные стихи к нему:

Хоть сто мозолей – трех веков не скроешь!
Рук не исправить – топором рубя!
О, сокровеннейшее из сокровищ:
Порода! – узнаю тебя.

Как ни коптись над черной сковородкой —

¹⁴ Поднимайтесь! Поднимайтесь! Умрите! (*фр.*).

¹⁵ Сокровище (*фр. и нем.*).

Все вокруг тебя твоих Версалеи – тишь.
Нет, самую косою косовороткой
Ты шеи не укоротишь!

Над снежной грудой иль над трубной сажей
Дугой согбен – все ж *гордая* спина!
Не окриком, – все той же барской блажью
Тебе работа задана.

Выменивай но нищему Арбату
Дрянную сельдь на пачку папирос —
Все равенство нарушит – нос горбатый:
Ты – горбонос, а он – курнос.

Но если вдруг, утомлено получкой,
Тебе дитя цветок протянет – в дань,
Ты так же поцелуешь эту ручку,
Как некогда – царицы длань.

(Один из слушателей, тогда же: – Что это значит: утомлено получкой? – Когда человек, продавец, устает получать. (Непонимающие глаза.) Устает получать деньги, ну – продавать устает. – Разве это бывает? (Я, резво:) – Еще как. Вот с Львом Толстым случилось: устал получать доходы с Ясной Поляны и за сочинения гр. Л. Н. Толстого – и вышел в поле. – Но это – исключительный случай, гений, у Вас же рэчь (мой собеседник – поляк) – о «дитя». – Мое дитя – женщина, а получать ведь вопрос терпенья, а женщины еще более терпеливы, чем гении. Вот мое «дитя» сразу и подарило розу Стаховичу...)

Второе:

Не от запертых на семь замков пекарен
И не от заледенелых печек —
Барским шагом, распрямляя плечи,
Ты сошел в могилу, русский барин.

Старый мир пылал – судьба свершалась.
– Дворянин, дорогу – дровосеку!
Чернь цвела, а вблизи тебя дышалось
Воздухом Осьмнадцатого века.

И пока, с дворцов срывая крыши,
Чернь рвалась к добыче вожделенной —
Вы «*bon ton, maintien, tenue*»¹⁶ мальчишек
Обучали – под разгром вселенной.

Вы не вышли к черни с хлебом-солью,
И скрестились – от дворянской скуки! —
В черном царстве трудовых мозолей —
Ваши восхитительные руки.

(Не мне презирать мозоли – тогда бы я должна была презирать себя первую – но *тогда*

¹⁶ Хорошим манерам, умению держаться, поведению (*фр.*).

эти мозоли были в любовь навязаны и вменены в обязанность. Отсюда и ненависть.)

Прибавлю еще, что Сонечка со Стаховичем были в одной студии – Второй, где шли и Сонечкины «Белые Ночи» с единственным действующим лицом – Сонечкой, и «Зеленое кольцо» с единственным действующим лицом – Стаховичем (кольцо – молодежь).

Вот об этих-то *leçons* «*bon ton, maintien, tenue*» Сонечка мне и рассказывала, говоря о своих тупоносых башмаках.

– Это был такой стыд, Марина! Каждый раз сгорала! Он, например, объясняет, как женщине нужно кланяться, подавать руку, отпускать человека или, наоборот, принимать.

– Поняли? Ну, пусть кто-нибудь покажет. Никто не может? Ну, вы, – Голлидэй, Соня.

И выхожу, Марина, сгорая со стыда за свои грубые низкие ужасные башмаки с бычьими мордами. В таких башмаках проходить через весь зал – перед ним, танцевавшим на всех придворных балах мира, привыкшим к таким уж туфелькам... ножкам...

О ножки, ножки, где вы ныне,
Где мнете вешние цветы?

Но выхожу, Марина, потому что другому – некому, потому что другие – еще хуже, не хуже одеты, а... ну, еще меньше умеют... дать руку, отпустить гостя. О, как я бы все это умела, Марина, – если бы не башмаки! Как я все это глубоко, глубоко, отродясь все умею, знаю! Как все – сразу – узнаю!

И он всегда меня хвалил, – может быть, чтобы утешить меня в этих ужасных башмаках? – «Так, так, именно – так...» и никогда на них не смотрел, точно и не видел, как они меня – *жгут*. И я не глядела, я ведь только *до* боялась, до того, как он скажет: – Ну, вы – Голлидэй, Соня! – А когда уже сказал – кончено, я свободно шла, я о них и не думала, – о, Марина! я до них не снисходила.

Но он их – отлично замечал, потому что, когда однажды одна наша ученица пожаловалась, что не умеет, «потому что башмаки тяжелые» – «Какова бы ни была обувь – остается поступь. Посмотрите на Софью Евгеньевну: кто скажет, что у нее на каждой ножке – по пуду железа, как у узника Бонивара?»

– Сонечка, а знаете ли вы сказку о маленькой Русалочке?

– Которая танцевала на ножах? Но ведь это в тысячу раз легче, чем на утюгах! Потому что это именно утюги... битюги... Это моя самая любимая сказка, Марина! Всякий раз, когда я ее читаю, я чувствую себя – ею. Как ей хотелось всплыть – и как всплыла, и увидела верхний мир, и того мраморного мальчика, который оказался мертвым... и принцем, и как потом его оживила – и онемела – и как потом немая танцевала перед ним на ножах... О, Марина, ведь это высшее блаженство – так любить, так любить... Я бы душу отдала – чтобы душу отдать!

– Ах, Марина! Как я люблю – любить! Как я безумно люблю – сама любить! С утра, нет, до утра, в то самое до-утро – еще спать и уже знать, что опять... Вы когда-нибудь забываете, когда любите – что любите? Я – никогда. Это как зубная боль – только наоборот, наоборотная зубная боль, только там ноет, а здесь – и слова нет. (Подумав: поёт?) Ну, как сахар обратное соли, но той же силы. Ах, Марина! Марина! Марина! Какие они дикие дураки. (Я, все же изумленная: – Кто?) – Да те, кто *не* любят, сами не любят, точно в том дело, чтобы *тебя* любили. Я не говорю... конечно... – устаешь – как в стену. Но Вы знаете, Марина (таинственно), нет такой стены, которую бы я *не* пробила! Ведь и Юрочка... минуточками... у него *почти* любящие глаза! Но у него – у меня такое чувство – нет сил сказать это, ему легче гору поднять, чем сказать это слово. Потому что ему нечем его поддержать, а у меня за горою – еще гора, и еще гора, и еще гора... – целые Гималаи любви, Марина! Вы замечаете, Марина, как все они, даже самые целующие, даже самые как будто любящие, боятся сказать это слово, как они его *никогда* не говорят?! Мне один объяснял, что это... грубо... (фыркает)... отстало, что: зачем слова, когда – дела? (то есть поцелуи и так

далее). А я ему – «Э-э! нет! Дело еще ничего не доказывает, а слово – всё». Мне ведь только этого от человека нужно: лю-блю, и больше ничего, пусть потом что угодно делают, как угодно не любят, я делам не поверю, потому что слово – было. Я только этим словом кормилась, Марина, потому так и отошала.

О, какие они скупые, расчетливые, опасливые, Марина! Мне всегда хочется сказать: – Ты только – скажи. Я проверять – *не* буду. Но не говорят, потому что думают, что это – жениться, связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то никогда уже первым не смогу уйти. (Они и вторым не говорят, Марина, никоторым.) Точно со мной можно *не*-первому уйти!

Марина! Я – в жизни! – не уходила первая. И в жизни – сколько мне ее еще Бог отпустит – первая не уйду. Я просто *не могу*. Я всегда жду, чтобы другой ушел, все делаю, чтобы другой ушел, потому что *мне* первой уйти – легче перейти через собственный труп. (Какое страшное слово. Совсем мертвое. Ах, поняла: это тот мертвый, которого никто никогда не любил. Но для меня и такого мертвого нет, Марина!) Я и внутри себя никогда не уходила первая. Никогда первая не переставала любить. Всегда – до последней возможности, до самой последней капельки – как когда в детстве пьешь. И уж жарко от пустого стакана – а все еще тянешь, и только собственный пар!

Ах, знаете, вы будете смеяться – это была совсем короткая встреча – в одном турне – неважно, кто – совсем молодой – и я безумно в него влюбилась, потому что он все вечера садился в первый ряд – и *бедно* одетый, Марина! не по деньгам садился, а по глазам, и на третий вечер так на меня смотрел, что – либо глаза выскочат, либо сам – вскочит на сцену. (Говорю, двигаюсь, а сама все кошусь: ну, как? нет, еще сидит.) Только это нужно понять! Потому что это не был обычный влюбленный мужской *едящий* взгляд (он был почти мальчик) – это был пьющий взгляд, Марина, он глядел как замороженный, точно я его каждым словом и движением – как на нитке – как на канате – притягиваю, наматываю – это чувство должны знать русалки и еще скрипачи, верней смычки – и реки... И пожары, Марина!.. Что вот-вот вскочит в меня – как в костер. Я просто не знаю, как доиграла. Потому что у *меня*, Марина, все время было чувство, что в него, в эти глаза – оступлюсь.

И когда я с ним, наконец, за кулисами (знаю, что это ужасная пошлость, но *всё* пошлость, как только оно *где*, и *скалы*, на которых сидели *девы* д'Аннунцио – ничуть не лучше!)... за этими несчастными кулисами поцеловалась, я ничего не чувствовала, кроме одного: спасена!

...Это длилось страшно коротко. Говорить нам было не о чем. Сначала я все говорила, говорила, говорила, а потом – замолчала. Потому что нельзя, я – не могу, чтобы в ответ на мои слова – только глаза, только поцелуй! И вот лежу утром, до-утром, еще сплю, уже не сплю, и вдруг замечаю, что все время что-то повторяю, да, – губами, словами... Вслушалась – и знаете, что это было: – *Еще* понравься! Еще чуточку, минуточку, секундочку понравься! – Ну, и? – Нет. Он – *не* смог. – Чего? – Еще-понравиться. Не смог бы – даже если бы услышал. Потому что вы не думайте: я не его, спящего, просила – мы жили в разных местах, и вообще... – я в воздух просила, может быть – Бога просила, я просто заклинала, Марина, я сама себя заклинала, чтобы еще немножко вытянуть. – Ну, и? (с сияющими глазами:) Вытянула. Он не смог, я – смогла. Никогда не узнал. Все честь честью. И строгий отец генерал в Москве, который даже не знает, что я играю: я будто бы у подруги (а то вдруг вслед поедет, ламповщиком сделается?) – и никогда не забуду (*это* не наврала), и когда уже поезд трогался – потому что я на людях никогда не целуюсь – поцеловала *его* розы в окне... Потому что, Марина, любовь – любовью, а справедливость – справедливостью. Он не виноват, что он мне больше не нравится. Это не вина, а беда. Не *его* вина, а *моя* беда: бездарность. Все равно, что разбить сервиз и злиться, что не железный.

А пьеса – когда мы так друг в друга влюбились – была Юрия Слезкина. Смешное имя? Как раз для меня. Мне даже наш антрепренер сказал: – Маленькая Сонечка, вы все плачете, вот бы вам замуж за Юрия Слезкина. (Деловито:) – А он, вы не знаете, Марина, – старик?

(Знаю, что разбиваю единство повествования, но честь – выше художества.
Это «еще понравься!» – мой второй плагиат.

Как та чахоточная, что в ночь
Стонала: еще понравься!

И, дальше:

Как та чахоточная, что всех
Просила: *еще* немножко
Понравься!..

И – конец:

Как та с матросом – с тобой, о жизнь,
Торгуюсь: *еще* минутку
Понравься!..

Так, в постепенности, дана и сохранена, пронесена сквозь стихи и допроизнесена вся Сонечкина просьба. Ибо, будь Сонечка старше, она бы именно так – кончила.)

– Ну, Сонечка, дальше про Стаховича. Кроме поклонов о чем еще были эти уроки? – Обо всем. Например – как надо причесываться. – Женская прическа должна давать – сохранять – охранять форму головы. Никаких надстроек, волосы должны только – и *точно* – обрамлять лица, чтобы лицо оставалось – главным. Прямой пробор и гладкие зачесы назад, наполовину прикрывающие ухо: как у вас – Голлидэй, Соня. – Алексей Александрович! А ведь у меня... не очень гладко! – я, смеюсь. – Да, но это – природные завитки, потому что у вас природная волна, и *рама* остается, только – немножко – рококо... Я говорю об общей линии: она у вас проста и прекрасна, просто – прекрасна. (О, Марина, как я в эти минуты гордилась! Потому что я чувствовала: он меня не только из тех, что перед ним, а из всех, что *за ним* – выделяет!)... Еще о том, как себя вести, когда, например, на улице падает чулок или что-нибудь развяжется: – С кем бы вы ни шли – спокойно отойти и не торопясь, без всякой суеты, поправить, исправить непорядок... Ничего не рвать, ничего не торопить, даже не особенно прятаться: спокойно, спокойно... Покажите вы, Голлидэй! Мы идем с вами вместе по Арбату, и вы чувствуете, что у вас спускается чулок, что еще три шага и совсем упадет... Что вы делаете?

И – показываю. Отхожу от него немножко вбок, нагибаюсь, нащупываю резинку и спокойно, спо-койно...

– Браво, браво – Голлидэй, Соня! Если вы, действительно, с *любим* спутником, а не только со мной (и у него тут такая чудесно-жалкая, насмешливая улыбка, Марина!)... старым учителем... сохраните такое хладнокровие...

Однажды я не удержалась, спросила: – Алексей Александрович, откуда вы все это знаете: про падающие чулки, тесемки, наши чувства, головы?... Откуда вы нас так знаете – с головы до ног? И он, серьезно (ровно настолько серьезно, чтобы все поверили, а я – нет): – Что я все знаю – неудивительно; я старый человек, а вот откуда у вас, маленькой девочки, такие вопросы? Но всегда, всегда я показывала, всегда на мне показывали, на других, как *не* надо, на мне – как надо, меня мальчишки так и звали: Стаховичев показ.

– А девчонки – завидовали?

Она, торжествующе: – Лопались!! Это ведь была такая честь! Его все у нас страшно любили, и если бы вы знали, какие у нас матрешки. И вдобавок нахальные, напыженные! И – в каких локонах! (фыркает). – У *них* настоящие туфли, дамские.

– Но почему вы, Сонечка, неужели вы так мало зарабатываете?

Она, кротко: – У других мужа, Марина. У кого по одному, а у кого и по два. А у меня – только Юра. И мама. И две сестры. Они ведь у меня...

– Красавицы. Знаю и видела. А вы – Золушка, которая должна золу золить, пока другие танцуют. Но актриса-то – вы.

– А зато они – старшие. Нет, Марина, после папиной смерти я сразу поняла – и решила.

А *их* (показывает ножку) я все-таки ненавижу. Сколько они мне вначале слез стоили! Никак не могла привыкнуть.

Марина! Это было ужасно. Он впервые пришел в Художественный театр после тифа – и его никто не узнавал. Просто – проходили и не узнавали, так он изменился, постарел. Потом он сказал одному нашему студийцу: – Я никому не нужный старик...

...А как он пел, Марина! Какой у него был чудесный голос!

(Сидим наверху в нашей пустынной деревянной кухне, дети спят, луна...)

– Да, то был вальс – старинный, томный...

Да, то был див-ный

(обрывая, как ставят точку)

– вальс!

Когда бы мо-лод был!

Как бы я Вас лю-бил!

– Алексей Александрович! Это – уж вы сами! Этого в песне нет! – мы ему, смеясь.

– В моей – есть.

Почему вы, Алексей Александрович, – женщинам – и жемчужинам – и душам – знавший цену, в мою Сонечку не влюбились, не полюбили ее пуще души? Ведь и вокруг нее дышалось «воздухом осьмнадцатого века». *Чего* вам не хватило, чтобы пережить то страшное марта? Без *чего* вы не вынесли – еще одного часа?

А она была рядом – живая, прелестная, готовая любить и умереть за вас – и умирающая без любви.

Вы, может быть, думали: у нее свои, молодые... Видала я их! Да и вы – видали.

Как вы могли ее оставить – всем, каждому, любому из тех мальчишек, которых Вы так бесплодно обучали.

Был, впрочем, один среди них... Но о нем речь – впереди.

В театре ее не любили: ее – обносили. Я часто жаловалась на это моему другу Вахтангу Левановичу Мчедлову (ее режиссеру, который Сонечку для Москвы и открыл).

– Марина Ивановна, вы не думайте: она очень трудна. Она не то, что капризна, а как-то неучтима. Никогда не знаешь, как она встретит замечание. И иногда – неуместно смешлива (сам был – глубоким меланхоликом) ей говоришь, а она смотрит в глаза – и смеется. Да так смеется – что сам улыбнешься. И уроку – конец. И престижу – конец. Как с этим быть? И – не честолюбива, о, совсем нет, но – властолюбива, самовластна: *она* знает, что нужно – так, и – никаких.

– А может быть, она действительно знает, и действительно нужно – так?

– Но тогда ей нужен свой театр, у нас же – студия, совместная работа, ряд попыток... Мы вместе добиваемся.

– А если она уже отродясь добилась?

– Гм... В «Белых ночах» – да. Она вообще актриса на самое себя; на свой рост, на свой голос, на свой смех, на свои слезы, на свои косы... Она *исключительно* одарена, но я все еще не знаю, одаренность ли это – актерская – или человеческая – или женская... Она – вся –

слишком исключительна, слишком – исключение, ее нельзя употреблять в ансамбле: только ее и видно!

– Давайте ей главные роли!

– Это всегда делать невозможно. Да она и не для всякой роли годится – по чисто-внешним причинам – такая маленькая. Для нее нужно бы специально – ставить: ставить ее среди сцены – и все тут. Как в «Белых ночах». Все знает, все хочет и все *может* – сама. Что тут делать режиссеру? (Я, мысленно: – Склониться.) И, кроме того, мы же студия, есть элементарная справедливость, нужно дать показать себя – другим. Это актриса Западного театра, а не русского. Для нее бы нужно писать отдельные пьесы...

– Вахтанг Леванович, у вас в руках – чудо.

– Но что мне делать, когда *не это* – нужно?

– Не нужно самому – отдайте в хорошие руки!

– Но – где они?

– А я вам скажу: из вашего же обвинительного акта – скажу: эти руки – в Осьмнадцатом веке, руки молодого англичанина-меланхолика и мецената – руки, на которых бы он ее носил – в те часы, когда бы не стоял перед ней на коленях. Чего ей не хватает? Только двух веков назад и двух любящих, могущих рук – и только собственного розового театра – раковины. Разве вы не видите, что это – дитя-актриса, актриса в золотой карете, актриса-птица? Malibran, Аделина Патти, oiseau-mouche¹⁷, а совсем не студийка вашей второй или третьей студии? Что ее *обожать* нужно, а не *обижать*?

– Да ее никто и не обижает – сама обидит! Вы не знаете, какая она зубастая, ежистая, неудобная, непортативная какая-то... Может быть – прекрасная душа, но – ужасный характер. Марина Ивановна, не сердитесь, но вы все-таки ее – не знаете, вы ее знаете поэтически, человечески, у себя, с собой, а есть профессиональная жизнь, товарищеская. Я не скажу, чтобы она была плохим товарищем, она просто – никакой товарищ, сама по себе. Знаете станиславское «вхождение в круг»? Так наша с вами Сонечка – сплошное выхождение из круга. Или, что то же – сплошной центр.

И – удивительно злой язык! А чуть над ней пошутить – плачет. Плачет и тут же – что-нибудь такое уж ядовитое... Иногда не знаешь: ребенок? женщина? черт? Потому что она может быть настоящим чертом!

(На секундочку меня озарило: так о нелюбимых не говорят! так говорят о любимых: о тщетно, о прежде любимых! Но никто о ней не говорил – иначе, и во всех она осталась – загвоздкой: не любили – с загвоздкой.)

– Марина! У меня сегодня ужасное горе!

– Опять наш с вами ангел?

– Нет, на этот раз не он, а как раз наоборот! У нас решили ставить «Четыре Черта», и мне не дали ни одного, даже четвертого! даже самого маленького! самого пятого!

(Тут-то она и сказала свое незабвенное: – И у меня были такие большие слезы – крупнее глаз!)

Да, ее считали злой. Не высказывали мне этого прямо, потому что меня считали – еще злей, но в ответ на мое умиление ее добротой – молчали – или мычали. Я никогда не видела более простой, явной, вопиющей доброты всего существа. Она все отдавала, все понимала, всех жалела. А – «злоба»? – как у нас с Ходасевичем, иногда только вопрос, верней ответ, еще верней рипост языковой одаренности, языковая *сдача*. Либо рипост – кошачьей лапы.

Petite fille modèle – et Bon petit Diable. Toute ma petite Сонечка – immense – tenue dans la C-tesse de Segur. On n'est pas compatriotes pour rien!¹⁸

¹⁷ Колибри (фр.).

¹⁸ Примерная маленькая девочка и милый чертенок. Вся моя маленькая Сонечка – безмерно – похожа на

(Графиня де Сегюр – большая писательница, имевшая глупость вообразить себя бабушкой и писать только для детей. Прошу обратить внимание на ее сказки «Nouveaux Contes de Fees» (Bibliotheque Rose)¹⁹ – лучшее и наименее известное из всего ею написанного – сказки совершенно исключительные, потому что совершенно единоличные (без ни единого заимствования – хотя бы из народных сказок). Сказки, которым я верна уже четвертый десяток, сказки, которые я уже здесь в Париже четырежды дарила и трижды сохранила, ибо увидеть их в витрине для меня – неизбежно – купить).

Два завершительных слова о Вахтанге Левановиче Мчеделове – чтобы не было несправедливости. Он глубоко любил стихи и был мне настоящим другом и настоящей человечности человеком, и я бесконечно предпочитала его блистательному Вахтангову (Сонечкиному «Евгению Багратионычу»), от которого на меня веяло и даже дуло – холодом головы: того, что обыватель называет «фантазией». Холодом и бесплодием самого слова «фантазия». (Театрально я, может быть, ошибаюсь, человечески – нет.) И если Вахтанг Леванович чего-нибудь для моей Сонечки не смог, потому что это *что* было *все*, то есть полное его самоуничтожение, всеуничтожение, небытие, любовь. То есть, общественно вопиющая несправедливость. Вахтанг Леванович бесспорно был лучше меня, но я Сонечку любила больше. Вахтанг Леванович больше любил Театр, я больше любила Сонечку. А почему не дал ей «хотя бы самого маленького, самого пятого» – да может быть и черти то были не настоящие, а аллегорические, то есть не черти вовсе? (Сомнительно, чтобы на сцене, четыре действия сряду – четыре хвостатых.) Я этой пьесы не знаю, мнится мне – из циркового романа Германа Банга «Четыре черта». Мне только было обидно за *слово*. И – слезы.

Нет, мою Сонечку не любили. Женщины – за красоту, мужчины – за ум, актеры (*mâles et femelles*)²⁰ – за дар, и те, и другие, и третьи – за особость: опасность особости.

Toutes les femmes la trouvent laide,
Mais tous les hommes en sont fous...²¹

Первое – да (то есть как в стихах, как раз наоборот), второе – нет. Ее в самый расцвет ее красоты и дара и жара – ни один не любил, отзывались о ней с усмешкой... и опаской.

Для мужчин она была опасный... ребенок... Существо, а не женщина. Они не знали, как с ней... Не умели... (Ум у Сонечки никогда не ложился спать. «Спи, глазок, спи, другой...», а третий – не спал.) Они все боялись, что она (когда слезами плачет!) над ними – смеется. Когда я вспоминаю, *кого* моей Сонечке предпочитали, какую фальшь, какую подделку, какую лже-женственность – от лже-Беатрич до лже-Кармен (не забудем, что мы в самом сердце фальши: театре).

К слову сказать, она гораздо больше была испаночка, чем англичаночка, и если я сказала, что в ней ничего не было национального, то чтобы оберечь ее от первого в ее случае – напрашивающегося – малороссийского-национального, самого типичного-национального.

графиню де Сегюр. Недаром они соотечественницы! (*фр.*).

¹⁹ «Волшебные сказки» (Розовая библиотека) (*фр.*).

²⁰ Самцы и самки (*фр.*).

²¹

Все женщины находили ее безобразной,
Но все мужчины были от нее без ума... (*фр.*)

Испански же женское лицо – самое ненациональное из национальных, представляющее наибольший простор для человеческого лица в его общности и единственности: от портрета – до аллегии, испанское женское лицо есть человеческое женское лицо во всех его возможностях страдания и страсти, есть – Сонечкино лицо.

Только – географическая испаночка, не оперная. Уличная испаночка, работница на сигарной фабрике. Заверти ее волчком посреди севильской площади – и станет – своя. Недаром я тогда же, ни о чем этом не думая, о чем сейчас пишу, сгоряча и сразу назвала ее в одних из первых стихов к ней: – Маленькая сигарера! И даже – ближе: Консуэла – или Кончита – Конча. Concha, – ведь это почти что Сонечка! – О, да, Марина! Ой, нет, Марина! Конча, – ведь это: сейчас кончится, только еще короче!

И недаром первое, что я о ней услышала – Инфанта. (От инфанты до сигареры – испанское женское лицо есть самое а-классовое лицо.)

Теперь, когда к нам Испания ближе, Испания придвинулась, а лже-Испания отодвинулась, когда мы каждый день видим мертвые и живые женские и детские лица, мы и на Сонечкино можем напасть: только искать надо – среди четырнадцатилетних. С поправкой – неповторимости.

Еще одно скажу: такие личики иногда расцветают в мещанстве. В русском мещанстве. Расцветали в русском мещанстве – в тургеневские времена. (Весь последний Тургенев – под их ударом.) Кисейная занавеска и за ней – огромные черные глаза. («В кого уродилась? Вся родня – белая».) Такие личики бывали у младших сестер – седьмой после шести, последней. «У почтмейстера шесть дочерей, седьмая – красавица...»

На слободках... На задворках... На окраинах... Там, где концы с концами – расходятся.

Этому личику шли бы – сережки.

И еще – орешки. Сонечка до страсти любила орехи и больше всего, из всего продовольственно-выбывшего, скучала по ним. И в ее смехе, и в зубах, и в самой речи было что-то от разгрызаемых и раскатывающихся орехов, точно целые белкины закрома покатались. – «Такие зеленые и если зубами – кислые, это самое кислое, что есть: кислей лимона! кислей зеленого яблока! И вдруг – сам орех: кремовый, снизу чуть загорелый, и скок! пополам, точно ножом разрезали – ядро! такое круглое, такое крепкое, это самое крепкое, что есть! две половинки: одна – вам, другая – мне. Но я не только лесные люблю (а их брать, Марина! когда наверху – целая гроздь, и еще и еще, и никак не можешь дотянуться, гнешь, гнешь ветку и – вдруг! – вырвалась, и опять вверху качается – в синеве – такой синей, что глаза горят! такие зеленые, что глаза болят! Ведь они – как звезды, Марина! Шелуха – как лучи!)... я и городские люблю, и грецкие, и американские, и кедровые – такие чудные негрские малютки!... целый мешок! и читать „Войну и мир“, я Мир – люблю, Марина, а Войну – нет, всегда – нечаянно – целые страницы пропускаю. Потому что это мужское, Марина, не наше...»

...От раскатываемых орехов, и от ручья по камням – и струек по камням и камней под струйками – и от лепета листвы («ветер листья на березе перелистывает»...), и от тихо сжимаемых в горсти жемчугов – и от зеленоватых ландышевых – и даже от слез градом! – всем, что в природе есть круглого и движущегося, всем, что в природе смеется, чем природа смеется – смеялась Сонечка, но, так как всем сразу: и листвою, и водою, и горошинами, и орешинами, и еще – белыми зубами и черными глазами, то получалось несравненно-богаче, чем в природе...

– словом:

Все бы я слушал этот лепет.

Все б эти ножки целовал...

Мужчины ее не любили. Женщины – тоже. *Дети* любили. Старики. Слуги. Животные. Совсем юные девушки.

Все, все ей было дано, чтобы быть без ума, без души, на коленях – любимой: и дар, и жар, и красота, и ум, и неизъяснимая прелесть, и безымянная слава – лучше имени («та, что – „Белые ночи...”») и все это в ее руках было – прах, потому что она сама хотела – сама любить. Сама любила.

На Сонечку нужен был поэт. Большой поэт, то есть: такой же большой человек, как поэт. Такого она не встретила. А может, один из первых двухсот добровольцев в Новочеркасске 18-го года. Любой из двухсот. Но их в Москве Девятнадцатого года – не было. Их уже – нигде не было.

– О, Марина! Как я их любила! Как я о них тогда плакала! Как за них молилась! Вы знаете, Марина, когда я люблю – я ничего не боюсь, земли под собой не чувствую! Мне все: – Куда ты! убьют! там – самая пальба!

И я каждый день к ним приходила, приносила им обед в корзиночке, потому что, ведь, есть – надо?

И сквозь всех красногвардейцев проходила. – Ты куда идешь, красавица? – Больной маме обед несу, она у меня за Москвой-рекой осталась. – Знаем мы эту больную маму! С усами и с бородой! – Ой, нет, я усатых-бородатых не люблю: усатый – кот, а бородатый – козел! Я, *правда*, к маме! (И уже плачу.) – Ну ежели правда – к маме, проходи, проходи, да только в оба гляди, а то неровен час – убьют, наша, что ли, али юнкерская пуля – и останется старая мама без обеда.

Я всегда с особенным чувством гляжу на Храм Христа Спасителя, ведь я *туда* им обед носила, моим голубчикам.

– Марина! Я иногда ужасно вру! И сама – верю. Вот вчера, я в очереди стояла, разговорились мы с одним солдатом – хорошим: того же ждет, что и мы – сначала о ценах, потом о более важном, серьезном (*Ее* произношение). – Какая вы, барышня, молоденькая будете, а разумная. Обо всем-то знаете, обо всем *правду* знаете... – Да я и не барышня совсем! Мой муж идет с Колчаком! И рассказываю, и наскazyваю, и сама слезами плачу – оттого что я его так люблю и за него боюсь – и оттого что я знаю, что он не дойдет до Москвы – оттого что у меня *нет* мужа, который идет с Колчаком...

Сонечка обожала моих детей: шестилетнюю Алю и двухлетнюю Ирину. Первое, как войдет – сразу вынет Ирину из ее решетчатой кровати.

– Ну как, моя девочка? Узнала свою Галлиду? Как это ты про меня поешь? Галли-да, Галли-да! Да?

Ирину на колени. Алю под крыло – правую, свободную от Ирины руку. (– «Я *всегда* ношу детей на левой, вы тоже? Чтобы правой защищать. И – обнимать».) Так и вижу их втроем: застывшую в недвижимом блаженстве группу трех голов: Ирину, крутолобую, чуть было не сказала – круторогую, с крутыми крупными бараньими ярко-золотыми завитками над выступом лба, Алину, бледно-золотую, куполком, рыцаренка, и между ними – Сонечкину, гладковыющуюся, каштановую, то застывшую в блаженстве совершенного объятья, то ныряющую – от одной к другой. И – смешно – взрослая Сонечкина казалась только ненамного больше этих детских:

Мать, что тебя породила,
Раннею розой была:
Она лепесток обронила —
Когда тебя родила...

(Только когда я вспоминаю Сонечку, я понимаю все эти сравнения женщины с цветами, глаз с звездами, губ с лепестками и так далее – в глубь времен.

Не понимаю, а заново создаю.)

...Так они у меня и остались – группой. Точно это тогда уже был – снимок.

Когда же Ирина спала и Сонечка сидела с уже-Алей на коленях, это было совершенное видение Флоренсы с Домби-братом: Диккенс бы обмер, увидев обеих!

Сонечка с моими детьми была самое совершенное видение материнства, девического материнства, материнского девичества: девушки, нет – девочки-Богородицы:

Над первенцом – Богородицы:
Да это ж – не переводится!

– Ну, теперь довольно про Галлиду, а то я зазнаюсь! Теперь Ай ду-ду давай (вполголоса нам с Алей – почти что то же самое!) – как это ты поешь, ну?

– Ай ду ду,
Ай ду ду,
Сидит воен на дубу.
Он гает во тубу,
Во ту-бу,
Во ту-бу.

– Так, так, моя хорошая! Только еще продолжение есть: – «Труба точеная, позолоченая»... – но это тебе еще трудно, это когда ты постарше будешь.

И так далее – часами, никогда не уставая, не скучая, не иссякая.

– Марина, у меня никогда не будет детей. – Почему? – Не знаю, мне доктор сказал и даже объяснил, но это так сложно – все эти внутренности.

Серьезная, как большая, с ресницами, уже мерцающими как зубцы звезды.

И большего горя для нее не было, чем прийти к моим детям с пустыми руками.

– Ничего нет, ничего нет сегодня, моя девочка! – она, на вопиюще-вопрошающие глаза Ирины. – Я, понимаешь, до последней минуты ждала, все надеялась, что выдадут... А не дали – потому что они гадкие – и Царя убили, и мою Ирину голодную посадили... Но зато обещаю тебе, понимаешь, непременно обещаю, что в следующий раз принесу тебе еще и сахару...

– Сахай давай! – Ирина – радостно-повелительно.

– Ирина, как тебе не стыдно! – Аля, негодуя, готовая от смущения просто зажать Ирине рукою рот.

И Сонечкино подробное разъяснение – ничего кроме «сахар» не понимающей Ирине – что сахар – завтра, а завтра – когда Ирина ляжет совсем-спать, и потом проснется, и мама ей вымоет лицо и ручки, и даст ей картошечки, и...

– Кайтошка давай!

– Ах, моя девочка, у меня сегодня и картошечки нет, я про завтра говорю... – Сонечка, с искренним смущением.

– Сонечка! (Аля, взволнованно) с Ириной никогда нельзя говорить про съедобное, потому что она это отлично понимает, только это и понимает, и теперь уже все время будет просить!

– О, Марина! Ведь сколько я убивалась, что у меня не будет детей, а сейчас – кажется – счастлива: ведь это такой ужас, такой ужас, я бы просто с ума сошла, если бы мой ребенок просил, а мне бы нечего было дать... Впрочем, остаются все чужие...

Чужих для нее не было. Ни детей, ни людей.

Две записи из Алиной тетради весны 1919 г. (шесть лет).

«Пришел вечер, я стала уже мыться. Вдруг послышался стук. Я еще с мокроватым лицом, накинув на себя Маринину шелковую шаль, быстро спустилась и спросила: Кто там? (Марина знала ту полудевочку – актрису Софью Евгеньевну Голлидэй.) Там за дверью

послышались слова:

– Это я, Аля, это Соня!

Я быстро открыла дверь, сказав:

– Софья Евгеньевна!

– Душенька! Дитя мое дорогое! Девочка моя! – воскликнула Голлидэй, я же быстро взошла через лестницу к Марине и восторженно сказала: – Голлидэй! – Но Марины не было, потому что она ушла с Юрой Н. на чердак.

Я стала мыть ноги. Вдруг слышу стук в кухонную дверь. Отворяю. Входит Софья Евгеньевна. Она садится на стул, берет меня на колени и говорит: – Моего милого ребенка оставили! Я думаю – нужно всех гостей сюда позвать. – Но как же я буду мыть ноги? – Ах, да, это худо.

Я сидела, положив лицо на мягкое плечо Голлидэй. Голлидэй еле-еле касалась моей шали. Она ушла, обещав прийти проститься, я же вижу, что ее нет, и в одной рубашке, накинув на себя шаль, вхожу к Голлидэй и сажусь к ней на колени. Там были Юра С., еще один студиец, и Голлидэй, а Марина еще раньше ушла с Юрой Н. на чердак. Я пришла совсем без башмаков и сандалий, только в одних черных чулках. Трогательно! Юра С. подарил мне белый пирожок. Голлидэй была весела и гладила мои запутанные волосы. Пришла знакомая Голлидэй, послышались чьи-то шаги по крыше. Оказалось, что Марина с Юрой Н. через чердачное окно вместе ушли на крышу. Юра С. влез на крышу со свечой, воскликнув: – Дайте мне освещение для спасения хозяйки! Я сидела на подоконнике комнаты, слегка пододвигаясь к крыше. Голлидэй звала свою знакомую и говорила: – Ой, дитя идет на крышу! Возьмите безумного ребенка!

Подошла барышня, чтобы взять меня, но я билась. Наконец, сама Голлидэй сняла меня и стала нести в кровать. Я не билась и говорила: – Галлида гадкая! Галлиду я не люблю! Она полусмеялась и дала меня С-ву, говоря, что я слишком тяжела для ее рук. Только что они усадили меня, как вдруг я увидела Марину, которая сходила с чердака. (Голлидэй, когда несли меня, то все говорила: – Аля, успокойся! Ты первая увидишь Марину!) Марина держала в руках толстую свечу в медном подсвечнике. Голлидэй сказала Марине: – Марина, Алечка сказала, что она меня не любит!

Марина очень удивилась – как я думаю».

«У нас была Сонечка Голлидэй. Мы сидели в кухне. Было темно. Она сказала мне: – Знаешь, Алечка, мне Юра написал записочку: „Милая девочка Сонечка! Я очень рад, что Вы меня не любите. Я очень гадкий человек. Меня не нужно любить. Не любите меня“. А я подумала, что он это нарочно пишет, чтобы его больше любили. А не презирали. Но я ей ничего не сказала. У Сонечки Голлидэй маленькое розовое лицо и темные глаза. Она маленького роста, и у нее тонкие руки. Я все время думала о нем и думала: – Он зовет эту женщину, чтобы она его любила. Он нарочно пишет ей эти записочки. Если бы он думал, что он, правда, гадкий человек, он бы этого не писал».

...Не гадкий. Только – слабый. Бесстрастный. С ни одной страстью кроме тщеславия, так обильно – и обидно – питаемой его красотой. Что я помню из его высказываний? На каждый мой резкий, в упор, вопрос о предпочтении, том или ином выборе – хотя бы между красными и белыми – «Не знаю... Все это так сложно...» (Вариант: «так далек-не-просто»... по существу же «мне так безразлично»...) Зажигался только от театра, помню, однажды больше часу рассказывал мне о том, как бы он сделал (руками сделал?) маленький театр и разделил бы его на бесчисленное количество клеток, и в каждой – человечки, действующие лица своей пьесы, и междуклеточной – общей... – А что это были бы за пьесы... В чем, собственно, было бы дело?... (Он, таинственно:) – Не знаю... Этого я еще пока не знаю... Но я все это прекрасно вижу... (блаженно). – Такие маленькие, почти совсем не видать...

Иногда – неопределенные мечты об Италии: – Вот, уедем с Павликом в Италию... будем ходить по флорентийским холмам, есть соленый, жгутами, хлеб, пить кьянти, рвать с

дерева мандарины... (Я, эхом:) – И вспоминать – Марину... (Он, эхом эха:) – И вспоминать Марину...

Но и Италия была из Гольдони, а не из глубины тоски.

Однажды Павлик – мне: – Марина? Юра решил ставить Шекспира. (Я, позабавленно:) – Ну-у? – Да. Макбета. И что он сделает – половины не оставит!

– Он бы лучше половину – прибавил. Взял бы – и постарался. Может быть, Шекспир что-нибудь забыл? А Юрий Александрович вспомнил, восполнил.

Однажды, после каких-то таких его славлюбивых бреден – он ведь рос в вулканическом соседстве бредового, театрального до кости Вахтангова – я ему сказала: – Юрий Александрович, услышьте раз и жизни – правду. Вас любят женщины, а вы хотите, чтобы вас уважали мужчины.

Его товарищи-студийцы – кроме Павлика, влюбленного в него, как Пушкин в Гончарову – всей исключенностью для него, Павлика, такой красоты (что Гончарова была женщина, а Юрий З. – мужчина – не меняло ничего, ибо Пушкин, и женись на Гончаровой, не обрел ее красоты, *остался* маленьким, юрким, и т. д.) – но любовь Павлика была еще и переборотая ревность: решение любить – то, что по существу должен был бы ненавидеть, любовь Павлика была – чистейший романтизм – итак, кроме Павлика, его товарищи-студийцы относились к нему... снисходительно, верней – к нам, его любившим, снисходительно, снисходя к нашей слабости и обольщаемости. – «З-ий... да-а...» – и за этим протяжным *да* не следовало – ничего.

(Их любовь с Павликом была взаимная ревность: Юрия – к дару, Павлика – к красоте, ревность, за невозможностью вытерпеть, решившая стать и ставшая – любовью. И еще – тайный расчет природы: вместе они были – Лорд Байрон.)

Весь он был – эманация собственной красоты. Но так как очаг (красота) естественно – сильнее, то все в нем казалось и оказывалось недостаточным, а иногда и весь он – ее недостойным. Все-таки трагедия, когда лицо – лучшее в тебе и красота – главное в тебе, когда товар – всегда лицом, – твоим собственным лицом, являющимся одновременно и товаром. Все с него взыскивали по вексям этой красоты, режиссеры – как женщины. Все кругом ходили, просили. (Я одна *подала* ему на красоту.) – Но, помилуйте, господа, я никогда никому ничего такого не обещал... – Нет, родной, такое лицо уже есть – посул. Только оно обещало то, чего ты не мог сдержать. Такие обещания держат только цветы. И драгоценные камни. Драгоценные – насквозь. Цветочные – насквозь. Или уж святые Севастианы. Нужно сказать, что носил он свою красоту робко, ангельски. (Откуда мне сие?!) Но это не улучшало, это только ухудшало – дело. Единственный выход для мужчины – до своей красоты не снисходить, ее – презирать (пре-зри: гляди поверх). Но для этого нужно быть – больше, он же был – меньше, он сам так же обольщался, как все мы...

Как описать Ангела? Ангел ведь не состоит из, а сразу весь. Предстает. Предстоит. Когда говорит ангел, никакого сомнения быть не может: мы все видим – одно.

Только прибавлю: с седою прядью. Двадцать лет – и седая, чистого серебра, прядь.

И еще – с бобровым воротом шубы. Огромной шубы, потому что и рост был нечеловеческий: ангельский.

Помимо этого нечеловеческого роста, «фигуры» у него не было. Он сам был – фигура. Девятнадцатый Год его ангельству благоприятствовал: либо беспредельность шубы, либо хламида Св. Антония, то есть всегда – одежда, всегда – туманы. В этом смысле у него и лица не было: так, впадины, переливы, «и от нивы до нивы – гонит ветер прихотливый – золотые переливы»... (серебряные). Было собирательное лицо ангела, но до того несомненное, что каждая маленькая девочка его бы, из своего сна, узнала. И – узнавала.

Но зря ангельский облик не дается, и *было* в нем что-то от ангела: в его голосе (этой самой внутренней из наших внутренностей, недаром по-французски *organe*), в его бережных жестах, в том, как, склонив голову, слушал, как, приподняв ее, склоненную, в двух ладонях, изнизу – глядел, в том, как внезапным недвижным видением в дверях – вставал, в том, как без следу – исчезал.

Его красота, ангельскость его красоты, его все-таки чему-то – учила, чему-то выучила, *она* диктовала ему шаг («он ступает так осторожно, точно боится раздавить какие-то маленькие невидимые существа», Аля), и жест, и интонацию. Словом (смыслом) она его научить не могла, это уже не ее разума дело, – поэтому *сказать* он ничего не мог (ничего было!), *выказать* – все.

Поэтому и обманывались: от самой простой уборщицы – до нас с Сонечкой. «Так любит, что и сказать не может...» (*Так* – не любил, никак не любил.) «Какая-то тайна...» Тайны не было. Никакой – кроме самотайны такой красоты.

Научить *ступить* красота может (и учит!), *поступить* – нет, *выказать* – может, *высказать* – нет. Нужному голосу, нужной интонации, нужной паузе, нужному дыханию. Нужному слову – нет. Тут уже мы вступаем в другое княжество, где князя – мы, «карлики Инфанты».

Не «было в нем что-то от Ангела», а – все в нем было от ангела, кроме слов и поступков, слова и дела. Это были – самые обыкновенные, полу-школьные, полу-актерские, если не лучшие его среды и возраста – то и не худшие, и *ничтожные* только на фоне такой красоты.

Я сказала: в каком-то смысле у него лица не было. Но и личины – не было. Было – обличие. Ангельская обличовка рядового (и нежилого) здания. Обличие, подобие (а то, что я сейчас делаю – надгробие), но все таки лучше, что – было, чем – не было бы!

Ему – дело прошлое, и всему этому уже почти двадцать лет! – его тогдашний возраст! – моя стихотворная россыпь «Комедьянт», ему, о нем, о живом тогдашнем нем, моя пьеса «Лозэн» (Фортуна), с его живым возгласом у меня в комнате, в мороз, под темно-синим, осьмнадцатого века фонарем:

...да неужели ж руки
И у меня потрескаются? Черт
Побрал бы эту стужу! Жаль вас, руки...

(Это черт звучало нежнее лютни!) – Вижу игру темно-синего света и светло-синей тени на его испуганно-свидетельствуемой руке... *Ему* моя пьеса (пропавшая) «Каменный Ангел»: каменный ангел на деревенской площади, из-за которого невесты бросают женихов, жены – мужей, вся любовь – всю любовь, из-за которого все топились, травились, постригались, а он – стоял... Другого действия, кажется, не было. Хорошо, что та тетрадь пропала, так же утопла, отравилась, постриглась – как те... *Его* тень в моих (и на моих!) стихах к Сонечке... Но о *нем* – другая повесть. Сказанное – только чтобы уяснить Сонечку, показать, на что были устремлены, к чему были неотторжимо прикованы в ту весну 1919 года, чем были до краев наполнены и от чего всегда переливались ее огромные, цвета конского каштана, глаза.

Сонечка! Простим его ангельскому подобию.

Однажды я зашла к нему – с очередным даром. Его не застала, застала няньку.

– Вот книжечку принесли Юрочке почитать – и спасибо вам. Пушай читает, развлекается. А мало таких, милая вы моя, – с приносом. Много к нему ходят, с утра до ночи ходят, еще глаз не открыл – звонят, и только глаза смежил – звонят – и все больше с пустыми руками да поцалуями. Да я тем барышням не в осуждение – молоденькие! а Юрочка – хорош-расхорош, завсегда хорош был, как родился хорош был, еще на руках был – все барышни влюблялись, я и то ему: – Чего это ты, Юрий Алексаныч, уж так хорош? Не мужское это дело! – Да я, няня, не виноват. – Конечно, не виноват, только мне-то двери открывать бегать от этого – не легче... Пушай целуют! (все равно ничего не выцелуют), а только: коли цалуешь – так позаботься, – чтобы рису, али пшена, али просто лепешечку – вы же видите, какой он из себя худющий, сестра Верочка который год в беркулезе, неровен час и он: одно лицо, одна кровь – не ему, понятно, он у нас стеснительный, не возьмет, – а ко мне на кухню: «нате, мол, няня, подкрепите своего любимого». Нет, куда там! Коли ко мне на

кухню, так – что не любит – плакаться. И голова пуста и руки пусты. Зато рот по-олон: пустяками да поцалуями.

А зато одна к нему холит – золото. (Две их у меня – носят, только одна – строгая такая, на манер гувернантки, и носик у них великоват будет, так я сейчас не про них...) Вы барышню Галлиде знаете? Придет: – Юрочка дома? Сначала Юрий Алексаных говорила, ну а потом быстро пообвыкла, меня стесняться перестала. – Дома, говорю, красавица, только спит. – Ну, не будите, не будите, я и заходить не хотела, только вот – принесла ему, только вы, няня, ему не говорите...

И пакетец сует, а в пакете – не то, чтобы пшено али ржаной хлеб, а завсегда булочка белая: ну, белая... И где она их берет?!

Или носки сядет штопать. – Дайте мне, нянечка, Юрочкины носки. – Да что вы, барышня, нешто это ваших молодых ручек дело? Старухино это дело. – Нет уж! – и так горячо, горячо, ласково, ласково в глаза глядит – вы меня барышней не зовите, а зовите – Соня, а я вас – няня. Так и стала звать – Сонечка, как малюточку.

Ну уж и любит она его – и сказать не могу!

Носки перештопает, рубашечку погладит (а наш-то все спит, не ведает), поцалует меня в щеку – кланяйтесь, няня, Юрочке – и пойдет.

Сколько раз я своему красавцу говорила: – Не думай долго, Юрий Александрович, все равно лучше не сыщешь: и красавица, и умница, и работница, и на театре играет – себя оправдывает, и в самую что ни на есть темнующую ночь к дохтуру побежит, весь город на ноги поставит, а уж дохтура приведет: с такой женой болеть мо-жно! – а уж мать твоим детям будет хороша, раз тебя, версту коломенскую в сыновья взяла. И ростом – под стать: ты – во-о какой, а она – ишь какая малюточка! (Мне: – Верзила-то завсегда малюточек любят.) Только мал золотник – да дорог.

– А он?

– Стоит, улыбается, отмалчивается. Не любит – вот что.

– Другую любит?

– Эх, милая вы моя, никого-то он не любит, отродясь не любил, кроме сестры Верочки, да меня, няньки.

(Я, мысленно: – И себя в зеркале.)

– Так про Сонечку чтоб досказать. Не застанет – веселая уходит, а застанет – завсегда со слезами. Прохладный он у нас.

– Прохладный он у вас.

Зеркало – тоже прохладное.

У Сонечки была своя нянька – Марьюшка. «Замуж буду выходить – с желтым сундуком – в приданое». Не нянька – старая прислуга, но старая прислуга, зажившаяся, все равно – нянька. Я этой Марьюшки ни разу, за всю мою дружбу с Сонечкой, не видала – потому что она всегда стояла в очереди: за воблой, за постным маслом и еще за одной вещью. Но постоянно о ней слышала, и все больше, что «Марьюшка опять рассердится» (за Юру, за бессонные ночи, за скормленное кому-то пшено...)

Однажды стук в дверь. Открываю. Черное, от глаз, лицо – и уже с порога.

– Марина! Случилась ужасная вещь. В моей комнате поселился гроб.

– Что-о-о?

– А вот – слушайте. Моя Марьюшка где-то прослышала, что выдают гроба – да – самые настоящие гроба (пауза) – ну, для покойников – потому что ведь сейчас это – роскошь, вы же знаете, что Алексею Александровичу сделали в Студии – всюду будто уже выдали, а у нас не выдают. Вот и ходила – каждый день ходила, выхаживала – приказчик, наконец, терпение потерял: – Да скоро ли ты, бабка, помрешь, чтоб к нам за гробом не таскаться? Раньше, бабка, помрешь, чем гроб выдадим – и тому подобные любезности, ну, а она – твердая: обещано – так обещано, я от своего не отступлюсь. И ходит, и ходит. И, наконец, нынче приходит – есть! Да, да, по тридцатому талону карточки широкого потребления. – Ну,

дождалась, бабка, своего счастья? – И ставит ей на середину лавки – голубой. – Ну-ка примерь, уместись в нем со всеми своими косточками? – Умещусь-то умещусь, говорю, да только не в этом. – Как это еще – не в этом? – Так, говорю, потому что этот – голубой, мужеский, а я – девица, мне розовый полагается. Так уж вы мне, будьте добры, розовенький, – потому что голубого не надо ничем. – Что-о, говорит, карга старая, мало ты мне крови испортила, а еще – *девица* оказалась, в розовом нежиться желаешь! Не будет тебе, чертова бабка, розового, потому что их у нас в заводе нет. – Так вы уж мне тогда, ваше степенство, беленький, – я ему, – испужалась больно, как бы совсем без гробику не отпустил – потому что в мужеском голубом лежать для девицы – бесчестье, а я всю жизнь от младенческих пелен до савана честная была. Тут он на меня – ногами как затопчет: – Бери, чертова девица, что дают – да проваливай, а то беду сделаю! Сейчас, орет, Революция, великое сотрясение, мушшин от женщин не разбирают, особенно – покойников... Бери, бери, говорю, а то этим самым предметом угроблю! – да как замахнется на меня – гробовой крышечкой-то! Стыд, страм, солдаты вокруг – гогочут, пальцами – тычут...

Ну, вижу, делать нечего, взвалила я на себя свой вечный покой и пошла себе, и так мне, барышня, горько, скоко я за ним таскалась, скоко насмешек претерпела, а придется мне упокоиться в мужеском голубом.

И теперь, Марина, он у меня в комнате. Вы над дверью полку такую глубокую видели – для чемоданов? Так она меня – прямо-таки умолила: чтобы под ногами не мешался, а главное – чтобы ей глаз не язвил: цветом. «Потому что как на него взгляну, барышня, так вся и обольюсь обидой».

Так и стоит. (Пауза.) – Я наверное, все-таки, когда-нибудь к нему – привыкну?

(Это было в Вознесенье 1919 года.)

Четвертым действующим лицом Сонечкиной комнаты был – гроб.

А вот моя Сонечка, увиденная другими глазами: чужими.

– Видел сегодня вашу Сонечку Голлидэй. Я ехал в трамвае, вижу – она стоит, держится за кожаную петлю, что-то читает, улыбается. И вдруг у нее на плече появляется огромная лапа, солдатская. И знаете, что она сделала? Не переставая читать и даже не переставая улыбаться, спокойно сняла с плеча эту лапу – как вещь.

– Это – живая она! А вы уверены, что это – она была?

– О, да. Я ведь много раз ходил смотреть ее в «Белых Ночах», та же самая, в белом платье, с двумя косами... Это было так... прэлэстно (мой собеседник был из Царства Польского), что весь вагон рассмеялся, и один даже крикнул: браво!

– А она?

– Ничего. И тут глаз не подняла. Только может быть улыбка стала – чуть-чуть шире... Она ведь очень хорошенькая.

– Вы находите?

– С опущенными веками, и этими косами – настоящая мадонна. У нее, вероятно, много романов?

– Нет. Она любит только детей...

– Нно... это же *не* ...

– Нет, это мешает.

Так я охраняла Сонечку от – буржуйских лап.

Романы?

Je n'ai jamais su au juste ce qu'étaient ses relations avec les hommes, si c'étaient ce qu'on appelle des liaisons – ou d'autres liens. Mais rêver ensemble ou dormir ensemble, c'était toujours de

pleurer seule²².

Часть вторая Володя

Первое слово к его явлению – статья, и в глазах – сразу – стан: опрокинутый треугольник, где плечам дано все, поясу – ничего.

Первое впечатление от лица – буква Т и даже весь крест: поперечная морщина, рассекающая брови и продолженная прямолинейностью носа.

Но здесь – остановка, потому что все остальное зрительное было – второе.

Голос глубокий, изглубока звучащий и потому отзывающийся в глубинах. И – глубоко захватывающий, глубокое и глубоко захватывающий.

Но – не певучий. Ничего от инструмента, все от человеческого голоса в полную меру его человечности и связок.

Весь с головы до пят: – *Voila un homme!*²³.

Даже крайняя молодость его, в нем, этому *homme* – уступала. Только потом догадывались, что он молод – и очень молод. С ним, заменив Консула – юношей, а Императора – мужем, на ваших глазах совершалось двустипийное *Hugo*:

*Et du Premier Consul deja en maint endroit
Le front de l'Empereur perçait le masque etroit*²⁴.

Этот муж в нем на наших глазах проступал равномерно и повсеместно.

Этот юноша носил лицо своего будущего.

Об этом Володе А. я уже целый год и каждый раз слышала от Павлика А. – с неизменным добавлением – замечательный. – «А есть у нас в Студии такой замечательный человек – Володя А.». Но *этого* своего друга он на этот раз ко мне не привел.

Первая встреча —зимой 1918 г. —1919 г., на морозном склоне 1918 г., в гостях у молодящейся и веселящейся дамы, ногу подымавшей, как руку, и этой ногой-рукой приветствовавшей искусство – все искусства, мое и меня в том числе. Таких дам, с концом старого мира справлявших конец своей молодости, много было в Революцию. В начале ее. К 19-му году они все уехали.

Первое слово этого глубокого голоса: – Но короли не только подчиняются традициям – они их создают.

Первое слово – мне, в конце вечера, где нами друг другу не было сказано ни слова (он сидел и смотрел, как играют в карты, я – даже не смотрела): – Вы мне напоминаете Жорж Занд – у нее тоже были дети – и она *тоже* писала – и ей тоже так трудно жилось – на Майорке, когда не горели печи.

Сразу позвала. Пришел на другой день с утра – пошли бродить. Был голоден. Поделили и съели с ним на улице мой кусок хлеба.

Потом говорил: – Мне сразу все, все понравилось. И что сразу позвали, не зная. И что сами сказали: завтра. Женщины этого никогда не делают: всегда – послезавтра, точно завтра они всегда очень заняты. И что дома не сидели – пошли. И что хлеб разломил пополам, и

²² Я никогда не знала в точности, каковы были ее отношения с мужчинами: были ли они тем, что называют любовными связями или иными узами. Но мечтать ли вместе, спать ли вместе – а плакать всегда в одиночку (*фр.*).

²³ Се – человек! *фр.*).

²⁴ И не однажды сквозь стеснительный лик Первого консула проглядывало чело императора (*фр.*).

сами ели. Я в этом почувствовал – обряд.

А потом, еще позже: – Вы мне тогда, у Зои Борисовны, напомнили польскую панночку: на вас была такая (беспомощно) – курточка, что ли? Дымчатая, бархатная, с опушкой. Словом, кунтуш? И посадка головы – немножко назад. И взгляд – немножко сверху. Я сразу в вас почувствовал – польскую кровь.

Стал ходить. Стал приходить часто – раза два в неделю сразу после спектакля, то есть после двенадцати. Сидели на разных концах рыжего дивана, даже так: он – в глубоком его углу, я – наискосок, на мелком, внешнем его краю. Разговор происходил по длинной диагонали, по самой долгой друг к другу дороге.

Темный. Глаза очень большие, но темные от ресниц, а сами – серые. Все лицо прямое, ни малейшей извилины, резцом. В лице та же прямота, что в фигуре: *La tête de son corps*²⁵. Точно это лицо тоже было – стан. (Единственное *не* прямое во всем явлении – «косой» пробор, естественно прямой прямого.)

Зрительно – прямота, внутренне – прямота. Голоса, движений, в глаза-гляденья, рукопожатья. Все – одномысленно и по кратчайшей линии между двумя точками: им – и миром.

Прямота – и твердость. И даже – непреклонность. При полнейшей открытости – непроницаемость, не в смысле внутренней загадочности, таинственности, а в самом простом смысле: материала, из которого. Такого рукой не тронешь, а тронешь – ни до чего, кроме руки, не дотронешься, ничего в ней не затронешь. Поэтому бесполезно трогать. Совершенно, как со статуей, осязаемой, досягаемой, но – непроницаемой. В каком-то смысле – вещь без резонанса.

Словом, самое далекое, что есть от портрета, несмотря на пластическое несуществование свое, а может быть благодаря ему, бесконечно-досягаемого и податливого, который, по желанию, можно *вглядеть* на версту внутрь рамы, или изнутри всех его столетий в комнату – выглядеть. Самое обратное портрету, то есть – статуя, крайней явленностью своей и выявленностью ставящая глазам предел каждой точкой своей поверхности.

(Неужели это все я – М. И.? – Да, это все – вы, Володечка. Но рано обижаться – погодите.)

(Как потом выяснилось – это впечатление его статуарности было ошибочное, но это – потом выяснилось, и я этой ошибкой полтора года кормилась, на этой ошибке полтора года строила – и выстроила.)

Сразу стал – друг. Сразу единственный друг – и оплот.

В Москве 1918 г. – 1919 г. мне – мужественным в себе, прямым и стальным в себе, делиться было не с кем. В Москве 1918—1919 г. из мужской молодежи моего круга – скажем правду – осталась одна дрянь. Сплошные «студийцы», от войны укрывающиеся в новооткрытых студиях... и дарованиях. Или красная молодежь, между двумя боями, побывочная, наверное прекрасная, но с которой я дружить не могла, ибо нет дружбы у побежденного с победителем.

С Володей я отводила свою мужскую душу.

Сразу стала звать Володечкой, от огромной благодарности, что не влюблен, что не влюблена, что все так по хорошему: по надежному.

А он меня – М. И., так с отчества и не сошел, и прощались по имени-отчеству. И за это была ему благодарна, ибо в те времена кто только меня Мариной не звал? Просто: М. И. – никто не звал! Этим отчеством сразу отмежевался – от тех. Меня по-своему – присвоил.

Разговоры? Про звезды: однажды, возвращаясь из каких-то гостей, час с ним стояли в моем переулке, по колено в снегу. Помню поднятую, все выше и выше поднимаемую руку – и имя Фламариона – и *фламарионы* глаз, только затем глядящих в мои, чтобы мои

²⁵ Просто – голова (*фр.*) .

поднялись на звезды. А сугроб все рос: метели не было, были – звезды, но сугроб, от долгого стояния, все рос – или мы в него вращали? – еще бы час постояли – и оказался бы ледяной дом, и мы в нем...

О чем еще? Об Иоанне д'Арк – чуде ее явления – о Наполеоне на Св. Елене – о Джеке Лондоне, его, тогда, любимом писателе – никогда о театре.

И – никогда о стихах. Никогда стихов – я ему. Ни говорила, ни писала. Наше с ним было глубже любви, глубже стихов. Обоим – нужнее. И должно быть – нужнее всего на свете: нужнее, чем он мне и я ему.

Об его жизни (любовях, семье) я не знала ничего. Никогда и не спросила. Он приходил из тьмы зимней тогдашней ночи и в нее, еще более потемневшую за часы и часы сидения – уходил. («В уже посветлевшую» – будет потом.)

И я даже мысленно его не провожала. Володя кончался за порогом и начинался на пороге. Промежуток – была его жизнь.

Руку на-сердце положи: не помню, чтобы мы когда-нибудь с ним уговаривались: Когда придете? и т. д. Но разу не было – за зиму, чтобы он пришел и меня не застал, и разу не было, чтобы застал у меня других. И «дней» у нас не было: когда два раза в неделю, а когда и раз в две. – Значит, вы всегда были дома и всегда одна? – Нет, уходила. Нет, бывали. Но это было наше с ним чудо, и разу не было, чтобы я, завидев его, не воскликнула: – Володя! Я как раз о вас думала! – Или: – Володя, если бы вы знали, как я мечтала, чтобы вы нынче пришли! – или просто: – Володя! Какое счастье!

Потому что с ним входило счастье – на целый вечер, счастье надежное и наврное, как любимая книга, на которую даже не надо света.

Счастье без страха за завтрашний день: а вдруг разлюбит? больше не придет? и т. д. Счастье без завтрашнего дня, без его ожидания: выхаживания его большими шагами по улицам, выстаивания ледяными ногами – ледяными ночами – у окна...

Больше скажу: я никогда по Володе не скучала, так же достоверно не скучала по нему и без него, как ему радовалась. Мечтала – да, но так же спокойно, как о вещи, которая у меня непременно будет, как о заказном письме, которое уже знаю, что – послано. (Когда дойдет – дело почты, не мое.)

Сидел – всегда без шубы. Несмотря на холод и даже мороз – всегда без шубы. В сером, элегантном от фигуры костюме, таком же статном, как он сам, весь – очертание, весь – отграниченность от окружающих вещей, стен. Сидел чаще без прислона, а если прислонясь – то никогда не развляясь, точно за спиной не стена – а скала. Ландшафт за ним вставлял неизменно морской, и увидев его потом (только раз!) на сцене, в морской пьесе – не то «Гибель Надежды», не то «Потоп» – я не только не почувствовала разрыва с моим Володей, а наоборот – может быть впервые увидела его на его настоящем месте: морском и мужском.

От Павлика я уже год слышала, что «Володя – красавец»... – Не такой, как Юра, конечно, то есть *такой* же, но не *такой* ... Вы меня понимаете? – Еще бы! – Потому что Юра так легко мог бы быть – красавицей, а Володя – уж никакими силами...

Поэтому Володину красоту на пороге первого раза я встретила, как данность, и уже больше ею не занималась, то есть поступила с ней совершенно так, как он – когда родился. Не мешая ему, она не мешала и мне, не смущая и не заполняя его, не смущала и меня, не заполняла и меня. Его красота между нами не стояла – и не сидела, как навязчивый ребенок, которого непременно нужно занять, унять, иначе от скуки спалит дом.

С самого начала скажу: ничего третьего между нами не было, была долгая голосовая диванная дорога друг к другу, немногим короче, чем от звезды до звезды, и был человек (я) перед совершенным видением статуи, и может быть и садилась я так далеко от него, чтобы лучше видеть, дать этой статуе лучше встать, создавая этим перспективу, которой с ним лишена была внутренне, и этой создаваемой физической перспективой заменяя ту, внутреннюю, которая у людей зовется будущее, а между мужчиной и женщиной есть – любовь.

Однажды я его, шутя, спросила:

– Володечка, а надоедают вам женщины с вашей красотой? Виснут?

Смущенно улыбаясь, прямым голосом: – М. И., на каждом молодом виснут. Особенно на актере. Волка бояться... А мне всех, всех женщин жаль. Особенно – не так уж молодых. Потому что мы все перед ними безмерно виноваты. Во всем виноваты.

– А – вы?

– Я (честный взгляд), я стараюсь – исправить.

Дружил он, кроме меня, с одной их студийкой – с кавказской фамилией. Когда он ее очень уж хвалил, я шутя ревновала, немножко ее вышучивала, никогда не выдав. И каждый раз: – Нет, нет, М. И., здесь смеяться нельзя. Даже – шутя. Потому что она – замечательный человек.

Неподдающийся, как скала.

– Она сестрой милосердия была в войну – тоном высшего признания – на войне была.

– А я – не была.

– Вам – не надо, вам – другое надо.

– Сидеть и писать стихи? О, я даже обижена!

– Нет, не: сидеть и писать стихи, а делать то, что вы делаете.

– А что я делаю?

– То, что сделали вы – со мной, и то, что со мной еще сделаете.

– Володя, не надо?

– *Не* надо.

Однажды он мне ее привел. И – о, радость! – барышня оказалась некрасивая. Явно-некрасивая. Такая же ясно-некрасивая, как он – красивый. И эту некрасивую он, забалованный (бы) и залюбленный (бы), предпочитал всем, с *ней* сидел – когда не сидел со мной.

Попытка – исправить?

Володя приходил ко мне с рассказами – как с подарками, точно в ладони принесенными, до того – вещественными, донесенными до моего дома – моего именно, и клал он мне их в сердце – как в руку.

Помню один такой его рассказ об убитом в войну французском летчике. Разбитый аппарат, убитый человек. И вот, через какой-то срок – птица-победитель возвращается – снижается – и попирая землю вражды, победитель-немец – сбитому французу – венок.

Такими рассказами он меня поил и кормил в те долгие ночи.

Никогда – о театре, только раз, смеясь: – М. И., вы ведь меня не заподозрите в тщеславии? – Нет. – Потому что очень уже замечательно сказано, вы – оцените. У нас есть уборщица в Студии, милая, молоденькая, и все меня ею дразнят – что в меня влюблена. Глупости, конечно, а просто я с ней шучу, болтаю, – молодая ведь, и так легко могла бы быть моей партнершей, а не уборщицей. У женщин ведь куда меньшую роль играют рождение, сословие. У них только два сословия: молодость – и старость. Так ведь? Ну, так она нынче говорит мне – я как раз разгримировался, вытираю лицо: – Ах, Володечка А-в, какой вы жестокий красавец! – Что вы, Дуня, говорю, – какой я жестокий красавец? Это у нас З-ский – жестокий красавец. – Нет, говорит, потому что у Юрия <<Алексаныча>> красота ангельская, городская, а у вас, Володечка, морская, военная, самая настоящая нестерпимая жестокая мужская еройская. У нас бы на деревне Юрия <<Алексаныча>> – засмеяли, а от вас, Володечка, три деревни все сразу бы в уме решились.

Вот какой я (задумчиво) – ерой...

– «Красота страшна, быть может...» А теперь, Володя, в рифму к вашему жестокому красавцу, я расскажу вам свою историю:

Я отродясь помню в нашем доме Марью Васильевну – кто она была, не знаю, должно быть – *все* : и кто-нибудь из детей заболел – она, и сундуки перетрясать – она, и перешивать

– она, и яйца красить – она. А потом исчезала. Худая – почти скелет, но чудные, чудные глаза, такие страдальческие, живое страдание: темно-карие (черных – нет, черные только у восточных – или у очень глупых: бусы) – во все лицо, которого не было. И хотя старая, но не старуха – ни одного седого волоса, черные до синевы, прямым пробором. Ну – монашка и еще лучше – старая Богородица над сыном. Да так оно и было: у нее – я тогда еще была очень маленькая – был сын Саша, реального училища, он жил у нас в пристройке, возле кухни. Потом мы с матерью уехали за границу, а он заболел туберкулезом, и мой отец отправил его в Сухум. – Ах, Мусенька, как он меня ждал, как меня ждал! С каждым пароходом ждал – а уж умирал совсем. Затрубит пароход: – Вот это мама ко мне едет! (Сиделка потом рассказывала.) А я взаправду ехала – ваш папаша мне денег дал, и дворник на вокзале билет купил и в поезд посадил, – я ведь в первый раз так далёко ехала. Еду, значит, а он, значит, ждет. И как раз, как нам пристать, пароход затрубил. А он – привстал на постели, руки вытянул: – Приехала мама! – и мертвый упал...

...Это я вам, чтобы дать вам ее лицо, потому что это лицо у нее так и осталось, даже когда манную кашу варила или про генеральшиних мопсов рассказывала – всегда с таким лицом. Но теперь – про ту самую жестокую красоту – тоже рассказ, из ее молодости. – Я, Мусенька, не смотри на меня, что моща, и желтей лимону, и зубы шатаются – я, Мусенька, красавица была. И было мне тогда пятнадцать лет. Пошла я зачем-то в лавочку, за мной следом молодой человек заходит. Вышла я – он за мной. Вхожу в дом, гляжу из окна – стоит, на занавеску смотрит. Из себя – брюнет, глазищи – во-о, усы еще не растут, ну, лет шестнадцать, что ли. И, ей-Богу, на меня похож – глазами, потому что глазами моими мне все уши прожужжали, пропели, уж я-то их у себя на лице – знала. Смотрю – *мои* глаза, мои и есть. Ну, словом – братишка мне. (Я одна росла.) Только – рассказывать-то долго, а поглядеть – коротко, разом я занавеску задернула.

Завтрашний день – опять в лавочку, а он уже стоит, ждет. Ничего не говорит, не кланяется, а только глядит. И все дни так пошло: следом – как тень и стоит – как пень. Ну, а на пятый, что ли – у меня сердце не выдержало: и зло берет, что глядит, и зло берет, что молчит, – как выходит он вслед за мной, я – ему: – И глядеть нечего, и стоять нечего, потому что ничего не выглядишь, потому что я просватана: за богатого замуж выхожу.

А он – весна была, стоит под деревцами, снял картуз, да ни-изко поклонился. И – весь воском залился. А на другой день – я еще сплю – крик, шум: у Егоровых малый зарезался. Ночью, видать, потому что весь холодный. Все бегут – и я бегу.

И лежит он, Мусенька, мой недавний знакомец, гляделец, только глаз-то *моих* уже больше не видать: закрылись.

...Володечка, а ваша уборщица?

– Нет, М. И., времена другие, сейчас все страшно подешевело. Да я бы... почувствовал бы, если бы – действительно. Нет, выйдет замуж – и будут дети.

– И старшего назовет – Володечка.

– *Это – может* быть.

Такими рассказами я его кормила и поила долгие ночи: он – в глубоком углу дивана, я на мелком его краю, под синим фонарем, по длинной диагонали – явить имевшей всю нашу друг к другу дорогу, по которой мы никогда никуда не пришли.

...Теперь я думаю (да и тогда знала!) – Володя был – спутник, и дорога была не друг к другу, а – от нас самих, совместная – из нас самих. Отсюда и простор, и покой, и надежность – и неспешность: спешить ведь только в тот извечный тупик, из которого одна дорога: назад, шаг за шагом все отнимая, что было дано, и даже – затаптывая, и даже – в землю втаптывая, ногой как лопатой заравнивая.

О моей замороженности – иного слова нет – Ю. З. Володя конечно знал. Но он ее не касался, а может быть она его не касалась. Только, когда я, изведенная долгими

пропаданиями Ю. З. (а пропадать он начал скоро: сразу!) равнодушнейшим из голосов: – А как З-ский? – З-ский ничего. Играет.

З-ский был единственный пункт его снисхождения. Это имя, мною произнесенное, сразу ставило его на башню, а меня – в садик под нею, в самый розовый его куст. И как хорошо мне было, внезапно умаленной на все свое превосходство (с ним – равенство) – маленькой девочкой, из своего розового изнизу заглядевшейся на каменного ангела. Володе же, для которого я была всегда на башне, – сама башня, как-то неловко было видеть меня младшей (глупой). Он, даже, физически, отвечая об Ю. З., не подымал глаз – так что я говорила с его опущенными веками.

И когда я однажды, прорвавшись: – Володя, вы меня очень презираете за то, что... – он, как с неба упав: – Я – вас – презираю? Так же можно презирать – небо над головой! Но чтобы раз навсегда покончить с этим: есть вещи, которые мужчина – в женщине – не может понять. Даже – я, даже – в вас. Не потому, что это ниже или выше нашего понимания, дело не в этом, а потому, что некоторые вещи можно понять только изнутри себя, *будучи*. Я женщиной быть не могу. И вот, то небольшое только-мужское во мне не может понять того небольшого только-женского в вас. Моя тысячная часть – вашей тысячной части, которую в вас поймет каждая женщина, любая, ничего в вас не понимающая. З-ский – это ваша общая женская тайна... (усмехнувшись)... даже – заговор.

Не понимая, принимаю, как все всегда в вас – и от вас – приму, потому что вы для меня – вне суда.

– А хороший он актер?

– На свои роли, то есть там, где вовсе не нужно *быть*, а только являться, представлять, проходить, произносить. Видите, говорю вам честно, не перехваливаю и не снижаю. Да и не актера же вы в нем...

– А знаете ли вы, Володечка, вы, который все знаете – что я всего З., и все свои стихи к нему, и всю себя к нему отдам и отдаю за час беседы с вами – вот так – вы на том конце, я на этом...

Молчит.

– ...Что если бы мне дали на выбор – его всего – и наше с вами – только-всего... Словом, знаете ли вы, что вы его с меня, с моей души, одним своим рукопожатием – как рукой снимаете?

Все еще молчит. – Что я вас *бесконечно* больше...?!

– Знаю, Марина Ивановна.

Долгие, долгие дни...

Это – нет, но:

Долгие, долгие ночи...

Когда уходил? Не на рассвете, потому что светает зимой поздно, но по существу, конечно – утром: в четыре? В пять? Куда уходил? В какую жизнь? (Без меня.) Любил ли кого-нибудь, как я – Ю. З.? Лечился ли у меня от несчастной недостойной любви? Ничего не знаю и не узнаю никогда.

Я никогда не встречала в таком молодом – такой страсти справедливости. (Не *его* – к справедливости, а страсти справедливости – в нем.) Ибо было ему тогда много-много – двадцать лет. «Почему я должен получать паек, только потому, – что я – актер, а он – нет? Это несправедливо». Это был его главнейший довод, резон всего существа, точно (да *точно* и есть!) справедливость нечто совершенно односмысленное, во всех случаях – несомненное, явное, осязаемое, весомое, видимое простым глазом, всегда, сразу, отовсюду видимое – как золотой шар Храма Христа Спасителя из самой дремучей аллеи Нескучного.

Несправедливо – и кончено. И вещи уже нет. И соблазна уже нет. Несправедливо – и *нет*. И это не было в нем головным, это было в нем хребтом. Володя А. потому так держался прямо, что хребтом у него была справедливость.

Несправедливо он произносил так, как кн. С. М. Волконский – *некрасиво*. Другое поколение – другой словарь, но вещь – одна. О, как я узнаю эту неотразимость основного довода! Как бедный: – это дорого, как делец – это непрактично —

– так Володя А. произносил: – это несправедливо.

Его несправедливо было – несправедно.

Володя, как все студийцы его Студии, был учеником Стаховича – но не как все студийцы.

– М. И., Стахович учит нас итогам – веков. Дело не в том, что нужно – так кланяться, а в том – почему надо так кланяться, как от первого дикаря к тому поклону – пришли. От раздиранья, например, друг друга зубами – до дуэли. Этому Стахович нас не учит (с усмешкой)... у нас времени нет – на *историю* жеста, нам нужен... жест, прямая выгода и мгновенный результат: войду и поклонюсь, как Стахович, выйду – и подерусь, как Стахович – но этому я сам учусь, прохожу его уроки – вспять, к истоку, а вы ведь знаете, как трудно установить истоки Рейна и рода... Для меня его поклон и бонтон – не ответ, а вопрос, вопрос современности – прошлому, мой вопрос – тем, и я сам пытаюсь на него ответить, потому что, М. И. (задумчиво), я... не знаю... ответил ли бы на него сам Стахович? Стаховичу эти поклоны даны были отродясь, это был дар его предков – ему в колыбель. У меня нет предков, М. И., и мне никто ничего не положил в колыбель. Я пришел в мир – голый, но, хоть я и голый, я не должен бессмысленно одеваться в чужое, хотя бы прекрасное, платье. Их дело было донести, мое – осмыслить.

И я уже многое понял, М. И., и скажу, что это меньше всего – форма, и больше всего – суть. Стахович нас учит *быть*. Это – уроки бытия. Ибо – простите за грубый пример – нельзя, так поклонившись, заехать друг другу в физиономию – и даже этих слов сказать нельзя, и даже их подумать нельзя, а если их подумать нельзя – я уже другой человек, поклон этот у меня уже внутри.

После смерти Стаховича он сказал мне: – Я многим ему обязан. Иногда – я молод, М. И., и сейчас Революция, и я часто окружен грубыми людьми – когда у меня соблазн ответить тем же, сказать ему на его языке – хотя бы кулаком – у меня сразу мысль: это не – по Стаховичу. И – язык не поворачивается. И – рука не подымается. Подымется, М. И., но в нужный час – и никогда не сжатая в кулак!

На похоронах Стаховича – пустыней Девичьего Поля...

Пустыней Девичьего Поля
Бреду за ныряющим гробом.
Сугробы – ухабы – сугробы —
Москва: Деятнадцатый Год...

я среди других его юных провожатых особенно помню Володю, особенную прямоту его стана под ударами и над сугробами, ни на шаг не отстающего от учителя. Так мог идти старший, любимый внук.

И – что это? что это? Над хрустальным, кристальным, маленьким, сражающим чистотой и радостью крестом – черные глаза, розовое лицо, двумя черными косами как бы обнимающее крест – Сонечка над соседней могилой Скрябина. Это было первое ее видение, после того, на сцене, на чтении «Метели», первая встреча с ней после моей «Метели», в другой метели, ревавшей и бушевавшей над открытой могилой, куда никак не проходил барский, добротный, в Художественном театре сколоченный, слишком просторный для ямы – гроб. Студийцы, нахмуясь, расширяли, били лопатами мерзлую землю, обивали о нее лопаты, с ней – лопатами – на-смерть бились, девочка, на коленях посреди сугроба, обняв руками и обвив косами соседний хрустальный крест, заливала его слезами, зажигала глазами и щеками – так, что крест сиял и пылал – в полную метель; без солнца.

– Как мне тогда хотелось, Марина, после этой пытки, – Марина, вы помните этот

ужасный возглас: Батюшка, торопитесь, второй покойник у ворот! – точно *сам* пришел и встал с гробом на плечах, точно сам свой гроб пронес, Марина! – Марина, как мне тогда хотелось, нылось, *вылось* – домой, с вами, отогреться ото всей этой смерти, – все равно куда «домой» – куда-нибудь, где я останусь одна с вами, и положу вам голову на колени – как сейчас держу – и скажу вам все про Юру – и тут же сразу вам его отдам – только чтобы вы взяли мою голову в ладони, и тихонько меня гладили, и сказали мне, что не все еще умерли, что я еще не умерла – как все они... О, как я завидовала Вахтангу Левановичу, который шел с вами под руку и одно время – положив вам руку на плечо – всю эту долгую дорогу – шел с вами, один, с вашей коричневой шубой, которой вы его иногда ветром, почти запахивали, так что он мог думать, что это *вы* – его, что идет с вами под одной шубой, что вы его – любите! Я потом ему сказала: – Вахтанг Леванович, как вы могла не позвать меня идти с вами! Вы – плохой друг. – Но, Софья Евгеньевна, я шел с Мариной Ивановной. – Так я об этом именно, что вы шли с Мариной Ивановной! – Но... я не знал, Софья Евгеньевна, откуда я мог знать, что вам вдруг захочется идти со мной! – Да не с вами, дикий вы человек, а с нею: что *вы* с нею идете – а не я!! Он, Марина, тогда ужасно обиделся, назвал меня комедьянткой и еще чем-то... А я ведь – от всей души. А зато (блаженные жмурые глаза изнизу) – через два месяца – может быть даже день в день – я с вами, и не рядом на улице, а вот так, гляжу на вас глазами, и обнимаю вас руками, и тепло, а не холодно, и мы никуда не придем, где нужно прощаться, потому что я уже пришла, мы уже пришли, и я от вас, Марина, не уйду, никуда – никогда...

Ново-Девичьего кладбища уже нет, и той окраины уже нет, это теперь центр города. Хрустальный крест, не сомневаюсь, стоит и сияет на другом кладбище, но что случилось с его соседом, простым дубовым крестом?

Володя, как я, любил все старое, так же поражая каждое окружение «новизной» своих мнений и так же ставя эту новизну в кавычки – усмешки. Старое – но по юному. Старое – но не дряхлое. Этого достаточно было, чтобы его не понимали ни ревнителю старого мира, ни нового. Старое – но по-своему, бывшее – по еще никогда не бывшему. Еще и потому ему было так хорошо со мной, и еще в первую встречу у развязно-рукой и-ногой дамы я заметила на его руке большой старинный серебряный перстень – печатку. Позже я спросила: – Откуда он у вас? Ваш, то есть... – Нет, М. И., *не* фамильный – купил случайно, потому что мои буквы: В. А. (Пауза.) А З-ский *свой* начищает мелом. – И не знает, что там написано, потому что он – китайский. А вы не находите, что мелом – как-то мелко? – Я *своего* мелом не натираю, я люблю, когда серебро – темное, пусть будет темным – как его происхождение.

(– «А З-ский – свой»..., то есть – мой, и Володя это – знал.) Этот мел тут же обернулся девятистишием:

Сядешь в кресла, полон лени.
Стану рядом на колени —
До дальнейших повелений.

С сонных кресел свесишь руку.
Подыму ее без звука,
– С перстеньком китайским – руку.

Перстенок начищен мелом.
Счастлив ты? Мне нету дела!
Так любовь моя велела.

(Это «мне нету дела» я потом, в саморучной книжке стихов к нему, которую ему подарила, разбила на: мне нет – удела...)

Юрию З. – серебряный китайский, Павлику А. – немецкий, чугунный с золотом, с

какого-нибудь пленного или убитого – чугунные розы на внутреннем золотом ободке: с золотом – скрытым, зарытым. При нем – стихи:

Дарю тебе железное кольцо:
Бессонницу – восторг – и безнадежность.
Чтоб не глядел ты девушкам в лицо,
Чтоб позабыл ты даже слово – нежность.

Чтоб голову свою в шальных кудрях
Как пенный кубок возносил в пространство,
Чтоб обратило в уголь – и в пепел – и в прах
Тебя – сие железное убранство.

Когда ж к твоим пророческим кудрям
Сама Любовь приникнет красным углем,
Тогда молчи и прижимай к губам
Железное кольцо на пальце смуглом.

Вот талисман тебе от красных губ,
Вот первое звено в твоей кольчуге —
Чтоб в буре дней стоял один – как дуб,
Один – как Бог в своем железном круге.

(Москва, март 1979 г.)

Судьбы китайского я не знаю (знаю только: я первая подарила ему кольцо!), судьба чугунного – следующая:

Время шло. Однажды приходит – кольца нет. – Потеряли? – Нет, отдал его распилить, то есть сделать *два*. (Павлик, это будет меньше!) Два обручальных. Потому что я женюсь – На Наташе. – Ну, час вам добрый! А стихи – тоже распилили на-двое?

Потом – мы уже видались редко – опять нет кольца. – Где же кольцо. Павлик, то есть полукольцо? – М. И., беда! Когда его распилили – оба оказались очень тонкими, Наташино золотое сразу сломалось, а я ходил в подвал за углем и там его закатил, а так как оно такое же черное... – То давно уже сожжено в печке, на семейный суп. Роскошь все-таки – варить пшено на чугунных военнопленных розах, *мной* подаренных!

О судьбе же Володиного – собственного – речь впереди.

Кроме кольца у Володи из старины еще была – пистоль, «гишпанская пиштоль», как мы ее называли, и эту пистоль я, из любви к нему, взяла в свое Приключение, вручила ее своей (казановиной) Генриэтте:

– Ах, не забыть гишпанскую пиштоль,
Подарок твой!

Потому что эту «пиштоль» он мне на Новый Год принес и торжественно вручил – потому что он, как я, не мог вынести, чтобы другому вещь до страсти нравилась и держать ее у себя.

Эту пиштоль мне в России пришлось оставить, зарыть ее на чердаке вместе с чужой мальтийской шпагой, о которой речь впереди, вернее – тело ее осталось в России, душу ее я в Приключении перевезла через границу – времени и зримости.

К этому Новому Году я им всем троим вместе написала стихи:

Друзья мои! Родное триединство!

Роднее чем в родстве!
Друзья мои в советской – якобинской —
Маратовой Москве!

С вас начинаю, пылкий А-ский,
Любимец хладных Муз,
Запомнивший лишь то, что – панны польской
Я именем зовусь.

И этого – виновен холод братский,
И сеть иных помех! —
И этого не помнящий – З-ский!
Памятнейший из всех!

И наконец – герой меж лицедеев —
От слова *бытиё*
Все имена забывший – А-в!
Забывший и свое!

И, упражняясь в старческом искусстве
Скрывать себя, как черный бриллиант,
Я слушаю вас с нежностью и грустью,
Как древняя Сивилла – и Жорж Занд.

Вот тогда-то Володя А. и принес мне свою пиштоль – 1-го января 1919 года.

К этому Новому Девятнадцатому Году, который я вместе с ними встречала, я Третьей Студии, на этот раз – всей, подарила свою древнюю серебряную маску греческого царя, из раскопок. Маска – это всегда трагедия, а маска царя – сама трагедия. Помню – это было в театре – их благодарственное шествие, вроде *Fackelzug'a*²⁶, который Беттине устроили студенты.

...Как древняя Сивилла – и Жорж Занд...

Да, да, я их всех, на так немного меня младших или вовсе ровесников, чувствовала – сыновьями, ибо я давно уже была замужем, и у меня было двое детей, и две книги стихов – и столько тетрадей стихов! – и столько покинутых стран! Но не замужество, не дети, не тетради, и даже не страны – я *помнить* начала с тех пор, как начала жить, а помнить – стареть, и я, несмотря на свою бьющую молодость, была стара, стара, как скала, не помнящая, когда началась —

Эти же были дети – и актеры, то есть двойные дети, с единственной мечтой о том, что мне так легко, так ненужно, так само далось – имени.

– О, как я бы хотел славы! Так, идти, и чтобы за спиной шепот: – Вот идет А-ский!

– Да ведь это же *барышни* шепчут, Павлик! Неужели – лестно?! Я бы на вашем месте, внезапно обернувшись и пойдя на них, как на собак: – Да, А-ский! а дальше?

Им, кроме Володи, я вся – льстила. Я их – любила. Разница.

Звериной (материнской) нежности у меня к Володе не было – потому что в нем, несмотря на его молодость, ничего не было от мальчика – ни мальчишеской слабости, ни мальчишеской прелести.

Чары в нем вообще не было: норы не было, жары и жара не было, тайны не было, загадки не было – была задача: его собственная – себе.

²⁶ Факельного шествия (*нем.*) .

Этому не могло быть холодно, не могло быть голодно, не могло быть страшно, не могло быть тоскливо. А если все это было (и – наверное было), то не мое дело было мешать ему, нежностью, превозмогать холод, голод, страх, тоску: *расти*.

Была прохладная нежность сестры, уверенной в силе брата, потому что это *ее* сила, и благословляющей его на все пути. И – все его пути.

Была Страстная Суббота. Поздний вечер *ее*. Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца (Сонечка пропала, Володя не шел), я сказала Але: – Аля! Когда люди так брошены людьми, как мы с тобой – нечего лезть к Богу – как нищие. У него таких и без нас много! Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос Воскресе не будет – а ляжем с тобой спать – как собаки!

– Да, да, конечно, милая Марина! – взволнованно и убежденно залепетала Аля, – к таким, как мы, Бог сам должен приходить! Потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие омрачать его праздника.

Застенчивые или нет, как собаки или нет, но тут же улеглись вместе на единственную кровать – бывшую прислугину, потому что жили мы тогда в кухне.

Теперь я должна немножко объяснить дом. Дом был двухэтажный, и квартира была во втором этаже, но в ней самой было три этажа. Как и почему – объяснить не могу, но это было так: низ, с темной прихожей, двумя темными коридорами, темной столовой, моей комнатой и Алиной огромной детской, верх с той самой кухней, и еще другими, и из кухни ход на чердак, даже два чердака, сначала один, потом другой, и один другого – выше, так что, выходит – было четыре этажа.

Все было огромное, просторное, запущенное, пустынное, на простор и пустоту помноженное, и тон всему задавал чердак, спускавшийся на второй чердак и оттуда распространявшийся на все помещение вплоть до самых отдаленных и как будто бы сохранных его углов.

Зиму 1919 г., как я уже сказала, мы – Аля, Ирина и я – жили в кухне, просторной, деревянной, залитой то солнцем, то луною, а – когда трубы лопнули – и водою, с огромной разлитой плитой, которую мы топили неудавшейся мушиной бумагой какого-то мимолетного квартиранта (бывали – и неизменно сплывали, оставляя все имущество: этот – клейкую бумагу, другой – тысяча пять листов неудавшегося портрета Розы Люксембург, еще другие – френчи и галифе... и все это оставалось – пылилось – и видоизменялось – пока не сжигалось)...

Итак, одиннадцать часов вечера Страстной Субботы. Аля, как была в платье – спит, я тоже в платье, но не сплю, а лежу и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос Воскресе, доказанностью своего собачьего одиночества... Я, так старавшаяся всю зиму: и дети, и очереди, и поездка за мукой, где я чуть голову не оставила, и служба в Наркомнаце, и рубка, и топка, и три пьесы – начинаю четвертую – и столько стихов – и такие хорошие – и ни одна собака...

И вдруг – стук. Легкий, резкий, короткий. Команда стука. Одним куском – встаю, тем же – не разобравшись на руки и ноги – вертикальным пластом пробегаю темную кухню, лестницу, прихожую, нащупываю задвижку – на пороге Володя, узнаю по отграниченности даже во тьме и от тьмы.

– Володя, вы?

– Я, М. И., зашел за вами – идти к заутрене.

– Володя, заходите, сейчас, я только подыму Алю.

Наверху, шепотом (потому что это большая тайна и потому что Христос еще *не* воскрес): – Аля! Вставай! Володя пришел. Сейчас идем к заутрене.

Разглаживаю впотьмах ей и себе волосы, бегом сношу ее по темнее ночи лестнице... – Володя, вы еще здесь? – Голос из столовой: – Кажется – здесь, М. И., я даже себя потерял, – так темно.

Выходим.

Аля, продолжая начатое и за спешкой недоконченное:

– Я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам придет. Но так как Бог – дух, и у него нет ног, и так как мы бы умерли от страху, если бы его увидели...

– Что? Что она говорит? – Володя. Мы уже на улице.

Я, смущенная: – Ничего, она еще немножко спит...

– Нет, Марина, – слабый отчетливый голос изнизу, – я совсем не сплю: так как Бог не мог сам за нами прийти – идти в церковь, то Он и послал за нами Володю. Чтобы мы еще больше в него верили. Правда, Володя?

– Правда, Алечка.

Церковь Бориса и Глеба: наша. Круглая и белая, как просфора. Перед этой церковью, как раз в часы службы, целую зиму учат солдат. Внутри – служат, а снаружи – маршируют: тоже служат. Но сейчас солдаты спят.

Входим в теплое людное многосвечное сияние и слияние. Поют женские голоса, тонко поют, всем желанием и всей немощью, тяжело слушать – так тонко, где тонко, там и рвется, совсем на волоске – поют, – совсем как тот профессор: «У меня на голове один волос, но зато – густой». Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!.. Этого батюшку я знаю: он недавно служил с патриархом, который приехал на храмовый праздник – в черной карете, сияющий, слабый... И Аля первая подбежала к нему, и просто поцеловала ему руку, и он ее благословил...

– М. И., идемте?

Выходим с народом – только старухи остаются.

– Христос Воскресе, М. И.!

– *Воистину* Воскресе, Володя!

Домой Аля едет у Володи на руках. Как непривычный к детям, несет ее неловко – не верхом, на спине, и не сидя, на одной руке, а именно несет – на двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо.

– Алечка, тебе удобно?

– Бла-женно! Я в первый раз в жизни так еду – лежа, точно Царица Савская на носилках!

(Володя, не ожидавший такого, молчит.)

– Марина, подойдите к моей голове, я вам что-то скажу! Чтобы Володя не слышал, потому что это – большой грех. Нет, нет, не бойтесь, не то, что вы думаете! Совсем приличное, но для Бога – неприличное!

Подхожу. Она, громким шепотом: – Марина! А правда, те монашки пели, как муха, которую сосет паук? Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!

– Что она говорит?

Аля, приподымаясь: – Марина! Не повторяйте! Потому что тогда Володя тоже соблазнится! Потому что эта мысль у меня была от дьявола, – ах, Господи, что я опять сказала! Назвала это гадкое имя!

– Алечка, успокойся! – Володя. (Мне: – Она у вас всегда такая? – Я: – Отродясь.) – Вот ты уже дома, ты сейчас будешь спать, а утром, когда проснешься...

В его руке темное, но явное очертание яичка.

Аля водворена и уложена. Стоим с Володей у выходной двери.

– М. И., Аля у вас крепко спит?

– Крепко. Не бойтесь, Володя, она никогда не просыпается!

Выходим. Идем Пречистенским бульваром на Москва-реку. Стоим на какой-то набережной (все это как сон) – смотрим на реку... И сейчас, когда пишу, чувствую верхними ребрами камень балюстрады, через которую мы оба, неизвестно почему, страшно перегнулись, чтобы разглядеть: прошлое? будущее? или сущее, внутри творящееся?

Это была ночь перил, решеток, мостов. Мы все время что-то высматривали и – не высмотрев здесь – переходили на очередную набережную, на очередной мост, точно где-то было определенное место, откуда – нам вдруг все станет ясно во все концы света... А может быть – совместно – со всем этим: Москва-рекой, мостами, местами, крестами – прощались? Мнится мне (а может быть, только снится мне), что мы на одном из наших сторожевых постов, подходя к нему, встретили Павлика – отходящего, очевидно тоже и то же ищущего. (В ту Пасхальную ночь 1919 г. вся Москва была на ногах и вся, приблизительно, в тех же местах – возле-кремлевских.)

А может быть, друг с другом – прощались? Слов этой ночи, долгой, долгой, долгой, многочасовой и повсеместной – ибо вышли мы в час, а возвращались уже при полном свете позднего весеннего рассвета – слов этой ночи – я не помню. Вся эта ночь была – жест: его ко мне. Акт – его ко мне.

В эту ночь, на одном из тех мест, над одними из тех перил, в тесном плечевом соседстве со мной, им было принято, в нем тверже камня утвердилось решение, стоившее ему жизни. Мне же целой вечности – дружбы, за один час которой я, по слову Аксакова, отдала бы весь остаток угасающих дней...

Как это началось? (Ибо сейчас, вопреки тем мостам – начинается.)

Должно быть случайно, счастливым и заранее in den Sternen geschrieben²⁷ случаем ее прихода – в его приход.

– Как, Володя, вы – здесь? Вы – тоже бываете у Марины? Марина, я ревную! Так вы не одна сидите, когда меня нет?

– А вы, Сонечка, одна сидите, когда вас нет?

– Я! Я – дело пропащее, я со всеми сижу, я так боюсь смерти, что когда никого нет и не может быть – есть такие ужасные часы! – готова к кошке залезть на крышу – чтобы только не одной сидеть: не одной умереть, Марина! – Володя, а что вы здесь делаете?

– То же, что вы, Софья Евгеньевна.

– Значит: любите Марину. Потому что я здесь ничего другого не делаю и вообще на свете – не делаю. И делать не намерена. И не намерена, чтобы мне другие – мешали.

– Софья Евгеньевна, я могу уйти. Мне уйти, Марина Ивановна?

– Нет, Володечка.

– А мне уйти? (Сонечка, с вызовом.)

– Нет, Сонечка. (Пауза.) А мне, господа, уйти?

Смех.

– Ну, Марина, сделаем вид, что его нет. Марина! Я к вам от Юры: представьте себе, у него опять начинается флюс!

– Значит, мне опять придется писать ему стихи. Знаете, Сонечка, мои первые стихи к нему:

Beau tenebreux²⁸, вам грустно, вы больны:
Мир неоправдан – зуб болит! Вдоль нежной
Раковины щеки – фуляр – как ночь...

– Фу-ляр? Клетчатый? Синий с черным? Это я его ему подарила – еще тогда – это год назад было? Я отлично помню, у меня был нашейный платок – я ужасно люблю нашейные платки, а этот особенно! – и я к нему пришла – а у него флюс – а я обожаю, когда больны! А особенно – когда красивые больны – тогда они добрее... (пауза)... когда леопард совсем

²⁷ Преднарчетанным звездами (нем.) .

²⁸ Мрачный красавец (фр .).

издыхает, он страшно добрый: ну, добряк!! – и у него такая ужасно-уродливая повязка – вязаная – нянькина, и я, подумать не успев... Потом – угрызалась: папин фуляр, а у меня от папы – так мало осталось...

– Сонечка, хотите, отберу? И даже выкраду?

– Что вы, Марина, он теперь его ужасно полюбил: каждый флюс носит!

Володя, созерцательно: – Флюс – это неинтеллигентная болезнь, Софья Евгеньевна.

– Что-о? Дурак!

Володя, так же: – Ибо она от запущенного зуба, а запущенные зубы, в наш век...

– Идите вы ко всем чертям: зубным врачам! «Неинтеллигентная болезнь!» Точно бывают – интеллигентные болезни. Болезнь, это судьба: нужно же, чтобы человек от чего-нибудь умер, а то жил бы вечно. Болезнь, это судьба – и всегда, а ваша интеллигентность вчера началась и завтра кончилась, уже сегодня – кончилась, потому что посмотрите, как мы все живем? Марина руками разрывает шкафы красного дерева, чтобы сварить миску пшена. Это – интеллигентно!

– Но Марина Ивановна и разламывая шкафы остается интеллигентным человеком.

– Которым никогда не была. Правда, Марина, что вы никогда не были интеллигентным человеком?

– Никогда. Даже во сне, Сонечка.

– Я так и знала, потому что это все: и стихи, и сама Марина, и синий фонарь, и это чучело лисы – волшебное, а не интеллигентное. «Интеллигентный человек» – Марина! – это почти такая же глупость, как сказать о ней «поэтесса». Какая гадость! О, как вы глупы, Володя, как глупы!!

– Софья Евгеньевна, вы мне только что сказали, что я – дурак, а «глупы» – меньше, так что вы... разжижаете впечатление.

– А вы – еще сгущаете мою злобу. Потому что я страшно злюсь на вас, на ваше присутствие, чего вы у Марины не видали, вы актер, вам в студии нужно быть...

(Пауза.)

– ...Я не знаю, кто вы для Марины, но – Марина меня больше любит. Правда, Марина?

(Беру ее ручку и целую.)

– Ну, вот и я говорю – больше. Потому что Марина вам руки никогда не целовала. А если и скажете, что целовала...

(Володя: – Софья Евгеньевна!!)

...то только из жалости, за то, что вы – мужчина, бессловесное существо, неодушевленный предмет, единственный неодушевленный предмет во всей грамматике. Я ведь знаю, как мы вам руки целуем! У Марины об этом раз навсегда сказано: – «Та-та-та-та... Прости мне эти слезы – Убожество мое и божество!» Только – правда, Марина? – *сначала* божество, а потом – убожество! (Чуть ли не плача.) И Марина вас, если я попрошу, выгонит. Правда, Марина?

Я, целуя другую ручку: – Нет, Сонечка.

– А если не выгонит, то потому, что она вежливая, воспитанная, за границей воспитывалась, но внутренне она вас – уже выгнала, как я только вошла – выгнала. И уберите, пожалуйста, с этого места, это – мое место.

– Сонечка, вы сегодня – настоящий бес!

– А вы думали – я всегда шелковая, бархатная, шоколадная, кремовая, со всеми – как с вами? Ого!! Вам ведь Вахтанг Леванович говорил, что я – бес? Бес и есть. Во всяком случае – бешусь. Володя, вы умеете заводить граммофон?

– Умею, Софья Евгеньевна.

– Заведите, пожалуйста, первое попавшееся, чтобы мне самой себя не слышать.

Первое попавшееся было Ave Maria – Гуно. И тут я своими глазами увидела чудо: музыки над бесом. Потому что та зверская кошка с выпущенными когтями и ощеренной мордочкой, которой с минуты прихода Володи была Сонечка, при первых же звуках исчезла, растворилась сначала в вопросе своих огромных, уже не различающих меня и Володи глаз, и

тут же в ответе слез – ну прямо хлынувших: – Господи Боже мой, да что же это такое, да ведь я это знаю, это – рай какой-то.

– Ave Maria, Сонечка!

– Да разве это может быть в граммофоне? Граммофон, я думала это «Танец апашей» или по крайней мере – танго.

– Это *мой* граммофон, Сонечка, он *все* умеет. Володечка, переверните пластинку.

Оборот пластинки был – «Не искушай меня без нужды», Глилки, одна скрипка, без слов, но с явно – явней и полней, произнесенных бы – слышимыми бессмертными баратынскими.

– Марина! Я и это знаю! Это папа играл – когда еще был здоров... Я под это – все раннее детство засыпала! «Не искушай меня без нужды»... и как чудно, что без нужды, потому что так в жизни не говорят, так только *там* говорят, где никакой нужды уже ни в чем – нет, – в раю, Марина! И я сейчас сама в раю, Марина, мы все в раю! И лиса в раю, и волчий ковер в раю, и фонарь в раю, и граммофон в раю...

– А в раю, Софья Евгеньевна, – тихий голос Володи, – нет ревности, и все друг другу простили, потому что увидели, что и прощать-то нечего было, потому что – вины не было... И нет местничества: все на своем. А теперь я, Марина Ивановна, пойду.

Сонечка в слезах: – Нет, нет, Володя, ни за что, разве можно уходить – после такой музыки, одному – после такой музыки, от Марины – после такой музыки... (Пауза, еле слышно) – От меня...

...Я в жизни себе не прощу – своего нынешнего поведения! Потому что я ведь думала, что вы – пустой красавец – и туда же к Марине, чтобы она вам писала стихи, а вы бы потом хвастались!

– Марина Ивановна мне не написала ни одной строки. Правда, Марина Ивановна?

– Правда, Володечка.

– Марина! Значит, вы его – *не* любите?

Я, полушутя: – Так люблю, что и сказать не могу. Даже в стихах – не могу.

– Меньше или больше, чем Юру?

(Володя: – Софья Евгеньевна!! Она: – Забудьте, что вы в комнате: мне это нужно знать – сейчас.)

Я: – Володя мой друг на всю жизнь, а Ю. А. ни часу не был мне другом. Володю я с первой минуты назвала Володей, а Ю. А. – ни разу Юрой, разве что в кавычках и заочно.

Сонечка, сосредоточенно, даже страдальчески:

– Но – больше или меньше? Больше или меньше?

– Володю – несравненно. – Точка.

– А теперь, Марина Ивановна, я решительно пойду.

И – пошло. Так же как раньше они никогда у меня не встречались, так теперь стали встречаться – всегда, может быть оттого, что раньше Володя бывал реже, а теперь стал приходить через вечер, а под конец каждый вечер – ибо дело явно шло к концу, еще не названному, но известному.

Отъезды начались – с Ирины.

– Дайте мне, барыня, Ирину с собой в деревню – вишь она какая чахлая. Да разве раздобреешь – с советского молочка? (Так в 1919 г. в Москве сами дети прозвали – воду.) А у нас молоко – деревенское, и при царе – белое, и без царя – белое, и картошка живая, не мороженная, и хлеб без извешки. И вернется к вам Ирина – во-о какая!

Кухня. Солнце во все два окна. Худая, как жердь, владимирская Надя с принаряженной Ириной на руках. Перед ними – Сонечка, прибежавшая проститься.

– Ну, Ирина, расти большая, красивая, счастливая!

Ирина с лукавой улыбкой: – Галли-да! Галли-да!

– Чтобы щечки твои стали розовые, чтобы глазки твои – никогда не плакали, чтобы ручки что взяли – не отпускали, чтобы ножки – бегали... никогда не падали...

Ирина, еще никогда не выдавшая слез, во всяком случае – таких, бесцеремонно ловит их у Сонечки на глазах.

– Мок-рый... мок-рый... Газ-ки мок-рый...

– Да, мокрые, потому что это – слезы... Слезы. Но не повторяй, пожалуйста, этого тебе знать не надо.

– Барышня Софья Евгеньевна, нам на вокзал пора, ведь мы с Ириной – пешие, за час не дойдем.

– Сейчас, няня, сейчас. Что бы ей еще такого сказать, чтобы она поняла? Да, няня, пусть она непременно молится Богу, каждое утро и каждый вечер, – просто так: – Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, Алю, няню...

Ирина: – Галли-да! Галли-да!

– И Галлиду, потому что она ведь меня никогда Соней не звала, а я не хочу, чтобы она меня забыла, я ведь в жизни так не любила ребенка, как тебя. – И Галлиду (Бог уже! будет знать!) – Няня, не забудете?

– Что вы, Софья Евгеньевна, да Ирина сама напомнит, еще все уши мне Галлидой прожужжит...

Ирина, что-то понимая, с невероятным темпераментом: – Галлида, Галлида, Галлида, Галлида, Галлида... (и уже явно дразнясь:) Даллига, Даллига, Даллига...

– Бог с тобой, Ирина! до Бабы-Яги договоришься! – А говорите – забудет! Теперь всю дорогу не уймется. Ну, прощайтесь, Софья Евгеньевна, а то вправду опоздаем!

– Ну, прощай, моя девочка! Ручку... Другую ручку... Ножку... Другую ножку... Глазок... Другой глазок... Лобик – и всё, потому что в губы целовать нельзя, и вы, няня, не давайте, скажите – барыня не велела – и всё.

Ну, прощай моя девочка! (Трижды крестит.) Я за тебя тоже буду молиться. Поправляйся, возвращайся здоровая, красивая, румяная! Няня, берегите!

Тут же скажу, что Ирина свою Галлиду, Галлида свою Ирину больше никогда не увидела. Это было их последнее свидание, 7-го июня 1919 года.

Но около пяти месяцев спустя Ирина, оставленная Сонечкой двух лет трех месяцев, свою Галлиду еще помнила, как видно из Алиной записи – в ноябре 1919 года.

«У нас есть одна знакомая, которой нет в Москве. Ее зовут Софьей Евгеньевной Голлидэй. Мы в глаза ее называем Сонечка, а за глаза Сонечка Голлидэй. Ирина ее влюбила. Сонечка уезжала еще и раньше, а Ирина все помнила ее, и теперь еще говорит и поет: Галлида! Галлида!»

– Володечка, вы никогда не были в Мариной кухне?

– Нет, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, на Пасху.

– Господи, какой вы бедный! И никогда не видели Ирины?

– Не видел, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, тогда же – но она спала.

– Господи, как можно дружить с женщиной и не знать, сколько у ее ребенка зубов? Вы ведь не знаете, сколько у Ирины зубов?

– Не знаю, Софья Евгеньевна.

– Значит, это одна умственность, вы дружите с одной головой Марины. – Господи, у кого это была *одна* голова?!

– У нас с вами, Софья Евгеньевна.

– Дурак! Я говорю: *одна* голова, без ничего... Ах, это у Руслана и Людмилы! – Как мне бы от такой дружбы было холодно! Ледяной Дом какой-то... О, насколько я счастливее, Володя! У меня и нижняя Марина, хрустальная, фонарная, под синим светом как под водою, потому что ведь это – морское дно, а все гости – чудовища! – и верхняя Марина, над плитой, над пшеном, с топором! с пропиленным коричневым подолом, который – вот – целую! –

уважаемая, обожаемая! И ведь только эти две – Марина, эти все – Марина, потому что я вас, Марина, не вижу – только в замке, только на башне...

– В свободное от башни время я пасла бы баранов...

Володя:

– И слушали бы – голоса.

По Сонечкиному началу с Володией я отдаленно стала понимать, почему мужчины ее не любят. Всякое недопонимание, всякое противоречие, даже всякое хотя бы самое скромное собственное мнение неизменно вызывало у нее: дурак! Точно этот дурак у нее уже был заряжен и только ждал сигнала, которым служило – все. С ней нужно было терпение, незамечание – Володины терпение и незамечание.

Я всегда провожала ее вправо, в сторону Поварской, уходящая Сонечка для меня была светающая Поварская, белая улица без лавок, похожая на реку, – точно никакого влево у моего дома не было.

И только раз случилось иначе: была ночь, и меня вдруг осенило, что я еще не подарила Сонечке своего фонтана.

На совершенно пустой игрушечной лунной площади – днем – Собачьей, сейчас – Севильской, где только и было живого, что хоровод деревец, тонкой серебряной струечкой, двойным серебром: ушным и глазным, – сплошным...

– Фонтан, Марина?

– *Маринин* фонтан, Сонечка! Потому что в этом доме Пушкин читал Нащокину своего Годунова.

– Я не люблю Годунова. Я люблю – Дон-Жуана. О, какое здесь все круглое, круглое, круглое!

И – точно ветром отнесло – волной вынесло – как-то без участия ног – уже на середине площади.

И вот, подняв ручку на плечо невидимого и очень высокого танцора, доверчиво вложив ему в руку – левую, чуть откинув стан на *его* невидимую левую, чуть привстав на носках и этим восполняя отсутствие каблуков, овеваемая белым платьем и овевая меня им...

Она его, фонтан, именно обтанцовывала, и этот фонтан был – урна, это было обтанцовывание урны, обтанцовывание смерти...

Das Mädchen und der Tod²⁹.

– Марина, всё у меня уменьшительное, все – уменьшительные: все подружки, вещи, кошки, и даже мужчины, – всякие Катеньки, кисеньки, нянечки, Юрочки, Павлики, теперь – Володечка... Точно я ничего большого произнести не смею. Только вы у меня – *Марина*, такое громадное, такое длинное... О, Марина! Вы – мое увеличительное.

Сонечка часто думала вслух, я это сразу узнавала по ее отсутствующим, донельзя раскрытым спящим глазам, глазам – первого раза («Разве это бывает – такие метели, любви...»).

Тогда она вся застывала, и голос становился монотонный, насказывающий, тоже спящий, как глаза, голос, которым матери убаюкивают детей, а дети – себя. (А иногда и матери – себя.) И если она на реплики – мою или Володину – отвечала, то делала это как-то без себя, тоже во сне, без интонации, как настоящая сомнамбула. Нет, не *думала* вслух, а вслух – сновидела.

– ...Вот одного я еще никогда не любила – монаха. Не пришлось.

– Фу, Сонечка!

²⁹ Девушка и смерть (*нем.*) .

– Нет, Марина, вы не думайте – я не про православного говорю, бородатого, а про бритого: католического то есть. Может быть совсем молодого, может быть уже старого – не важно. В огромном, холодном как погреб монастыре. И этот монах один живет – была чума и все умерли, вымерли, он один остался – творить Божье дело... Один из всего ордена. Последний. И этот орден – он.

– Софья Евгеньевна, – трезвый голос Володи, – позвольте вам сказать, что данный монастырь не есть весь орден. Орден не может вымереть оттого, что вымер монастырь. Может вымереть монастырь, но не орден.

– Последний из всего ордена, потому что вымерли *все* монастыри... Две тысячи триста тридцать три монастыря вымерли, потому что это средние века и чума... А я – крестьянка, в белой косынке, и в полосатой юбке, и в таком корсаже – со скрещенными лентами – и я одна выжила из всей деревни – потому что монахи всё вокруг зачумили (о, Марина, я их безумно боюсь! Я говорю про католических: птицы, черти какие-то!) – и ношу ему в монастырь – молоко: от последней козы, которая еще не околела, – просто ставлю у порога его кельи.

– А ваш монах – пьет молоко? – Володя с любопытством. – Потому что ведь иногда – пост...

– ...И вот, я однажды прихожу – вчерашнее молоко не тронут. С бьющимся сердцем вхожу в келью – монах лежит – и тут я впервые его вижу: совсем молодой – или уже немножко состарившийся, но *бритый* – и я безумно его люблю – и я понимаю, что это – чума.

(Внезапно вскакивая, соскакивая, просыпаясь.)

– Нет! А то так вся история уже кончилась, и он не успел меня полюбить, потому что когда чума – не до любви. Нет, совсем не так. *Сначала* любовь, *потом* – чума! Марина, как сделать, чтобы вышло – *так*?

– Увидеть монаха накануне чумы. В его последний нормальный день. День – много, Сонечка!

– Но почему я буду знать, что у него завтра будет чума? А если я не буду знать, я не посмею ему сказать, потому что говорю-то я ему только потому, что он сейчас умрет, и слушает-то он меня только от смертной слабости!

Володя, созерцательно: – Чума начинается с насморка. Чихают.

– Это – докторская чума: чихают, а моя – пушкинская, там никто не чихал, а все пили и целовались. – Так как же, Марина?

– Подите к нему на исповедь: и все сказать должны, и слушать обязан. И не грех, а христианский долг.

– О, Марина! Какой вы, какой вы – гений! Значит, я прихожу к нему в часовню – он стоит на молитве – один из всего ордена – и я становлюсь на колени...

(Володя: – И он на коленях, и вы на коленях? Непластично. Лбами стукнетесь.)

– И он – встает, и я, с колен: – Брат, я великая грешница! А он спросит: – Почему? А я: – Потому, что я вас люблю. А он: – Бог всех велел любить. А я: – Нет, нет, не так, как всех, а больше всех, и больше никого, и даже больше Бога! А он: – О-о-о! Милая сестра, я ничего не слышу, у меня в ушах огромный ветер, потому что у меня начинается чума! – и вдруг шатается – клонится – и я его поддерживаю, и чувствую, как сквозь рясу бьется его сердце, безумно бьется! безумно бьется! – и так веду, вывожу его из часовни, но не в келью, а на зеленую лужайку, и как раз первое деревце цветет – и мы садимся с ним под цветущее деревце – и я кладу его голову к себе на колени... и тихонько ему напеваю... Ave Maria, Марина! И все слабее, и слабее, потому что у меня тоже – чума, но Бог милостив, и мы *не* страдаем. И у меня чудный голос – Господи, какой у меня голос! и уже не одно деревце цветет, а все, потому что они торопятся, знают, что у нас – чума! —целый цветущий ход, точно мы женимся! – и мы уже не сидим, а идем, рука об руку, и не по земле, а немножко *над* землей, *над* маргаритками, и чем дальше – тем выше, мы уже на поларшина от земли, уже на аршин, Марина! на целую сажень! и теперь мы уже над деревьями идем... над облаками идем... (Совсем тихо и вопрошающе:) – А можно – над звездами?

Протирая глаза, от всей души:

– Вот, Марина, и я любила – монаха!

– ...А жить мне приходится с такими – другими! Потому что мой монах сразу все понял – и простил – и исправил, без всяких моих слов, а сколько я говорю, Марина, и объясняю, из кожи, из глаз, из губ – лезу, и никто не понимает, даже Евгений Багратионыч – с его пресловутой «фантазией»!

Впрочем, у него как раз на это есть некоторые резоны. Я в самом начале с ним ужасно оскандалилась. У нас в Студии зашел разговор об образах.

– Образах, Сонечка!

– Нет, об образах. Быть – в образе. Кто в образе – кто нет, и так далее. А я говорю: – А Евгений Багратионыч, по-моему, в образе Печорина. Все: – Вот – глупости! Печорин – это сто лет назад, а Евгений Багратионович – сама современность, театр будущего, и так далее. Я и говорю: – Значит я не поняла, я не про идеи говорила, а про лицо – «и был человек создан по образу и подобию». Потому что, по-моему, Евгений Багратионыч страшно похож на Печорина: и нос, и подбородок, и геморроидальный цвет лица.

Я: – Что-о?

Сонечка, кротко: – *То*, Марина, то есть точь-в-точь теми словами. Тут уже крик поднялся, все на меня накинулись и даже Евгений Багратионыч: «Софья Евгеньевна, есть предел всему – и даже вашему языку». А я – настаиваю: – «Что ж тут обидного? Я всегда у Чехова читаю, и у Потапенки, и никакой обиды нет – раз такие великие писатели...» – «А что, по-вашему, значит геморроидальный?» – «Ну, желтый, желчный, горький, разочарованный, – ну, – геморроидальный». – «Нет, Софья Евгеньевна, это *не* желтый, не желчный, не горький, и не гордый, а это – болезнь». – «Да, да, и болезненный, болезнь печени, потому я, должно быть, и сказала – Печорин». – «Нет, Софья Евгеньевна, это не болезнь печени, а геморрой, – неужели вы никогда не читали в газетах?» – «Читала, и еще»... – «Нет уж, пожалуйста – без *еще*, потому что в газетах – много болезней и одна другой неназываемей. А *мой* совет вам: прежде чем говорить...» – «Но я так чувствовала это слово! Оно казалось мне таким печальным, волшебным, совсем желтым, почти коричневым – как вы!»

Потом – мне объяснили. Ах, Марина, это был такой позор! А главное, я его очень часто употребляла в жизни и потом никак не могла вспомнить – кому...

Мне кажется, Евгений Багратионыч так окончательно и не поверил, что я – не знала. То есть поверить-то поверил, но как-то мне всей наперед не поверил. Он, когда я что-нибудь очень хочу сказать – а у меня это всегда видно! – так особенно – неодобрительно и повелительно – смотрит мне в рот, – ну, как змея на птицу! Точно его – взглядом – тут же закрывает! Рукой бы зажал – если б мог!

Еще о словах.

– Все у нас говорят: революция... революция... А я не знаю... Только какие-то слова – странные: карточка широкого потребления, точно корабль дальнего плавания, сразу вижу воду, и ничего кроме воды... Да ничего кроме воды по ней и нет... А – например: закрытый распределитель? Это совсем глухой старик, наглухо запертый, я ему: – дедушка! а он: – ась? – распредели, пожалуйста! – а он: – э-эх! и так – часами... А еще жагра – слово: точно чума, мор, цинга, а это всего-навсего – морковный чай.

– ...Марина! Почему я так люблю плохие стихи? Так любя – ваши, и Павлика, и Пушкина, и Лермонтова... В полдневный жар, Марина, – как это жжет! Я всегда себя чувствую и им и ею, и лежу, Марина, в долине Дагестана и раной – дымлюсь, и одновременно, Марина, в кругу подруг задумчиво-одна...

И в чудный сон душа моя младая
Бог знает чем *всегда* погружена...

Все стихи, написанные на свете, – про меня, Марина, для меня, Марина, мне, Марина! Потому я никогда не жалею, что их не пишу... Марина, вы – поэт, скажите, разве важно – кто? Разве *есть* – кто? (Сейчас, сейчас, сейчас зайдет ум-за-разум! Но вы – поймете!) Марина, разве вы – все это написали? Знаю, что ваша рука, гляжу на нее и всегда только с великим трудом удерживаюсь, чтобы не поцеловать – на-людях, не потому, что эти идиоты в этом видят рабство, институтство, истерику, а потому, что вам, Марина, нужно целовать – на *всех* людях, бывших, сущих и будущих, а не на трех-четырех знакомых. И если я тогда, нечаянно, после той Диккенсовой ночи при Павлике поцеловала, то это – слабость, Марина, я просто не могла удержаться – сдержать благодарность. Но Павлик не в счет, Марина, – и как поэт – и немножко как собака, я хочу сказать, что он не-совсем человек – с *двух* сторон... (И вы, Володя, не в счет: видите – и при вас целую, но вы не в счет – потому что я уж так решила: когда мы втроем, мы с Мариной – вдвоем... А что при всех, у С-вых – это хуже, но вы так чудно сдали тому фокстерьеру – сдачи, бровью не поведя...) Я вам за всю вас, Марина, целую руку – руки – а вовсе не только за одни стихи, и за ваши шкафы, которые вы рубите, кажется – еще больше! Я всегда обижаюсь, когда говорят, что вы «замечательный поэт», и пуще всего, когда «гениальный». Это Павлик – «гениальный», потому что у него ничего другого за душою – нет, а у вас же – все, вся вы. Перед вами, Марина, перед тем, что есть – вы, все ваши стихи – такая чу-уточка, такая жалкая кро-охотка, – вы не обижаетесь? Мне иногда просто смешно, когда вас называют поэтом. Хотя выше этого слова – нет. И может быть дела – нет. Но вещи – есть. И все эти вещи – вы. Если бы вы не писали стихов, ни строчечки, были бы глухонемая, немая – как мы с Русалочкой, вы все равно были бы – та же: только с зашитым ртом. И я бы вас любила – нет, не: еще больше, потому что больше – нет, а совершенно так же – на коленях.

(Лицом уже из моих колен:)

– Марина! Знаете мой самый большой подвиг? еще больше, чем с тем красным носом (шарманщиком), потому что *не* сделать еще куда трудней, чем *сделать*: что я тогда, после Метели, все-таки не поцеловала вам руку! Не рабство, нет, не страх глаз, – страх вас, Марина, страх вас разом потерять, или разом заполучить (какое гнусное слово! заполучить, приобрести, завоевать – все гнуснее!) или разом – *наоборот*, страх – вас, Марина, ну, Божий страх, то, что называется – Божий страх, нет, еще не то: страх – повернуть ключ, проглотить яд – и что-то начнется, чего уж потом не остановить... Страх сделать *то*, Марина! «Сезам, откройся!» Марина, и забыть обратное слово! И никогда уже не выйти из той горы... Быть заживо погребенной в той горе... Которая на тебя еще и обрушится...

И просто – страх вашего страха, Марина. Откуда мне было знать? Всю мою жизнь, Марина, я одна была такая: слово, и дело, и мысль – одно, и сразу, и одновременно, так что у меня не было ни слова, ни дела, ни мысли, а только... какая-то электрическая молния!

Так о Метели: когда я слышала, ушами слышала:

– Князь, это сон – или грех?
– Бедный испуганный птенчик!
– *Первая* я – раньше всех! —
Ваш слышала бубенчик!

Вот это *первая* – и *раньше*, с этим ударением, как я бы сказала, у меня изо рта вынутое – Марина! У меня внутри – все задрожало, живьем задрожало, вы будете смеяться – весь живот и весь пищевод, все те-самые таинственные внутренности, которых никто никогда не видел, – точно у меня внутри – от горла и вниз до колен – сплошь жемчуга, и они вдруг – все – ожили.

И вот, Марина, так любя ваши стихи, я бе-зумно, бе-зумно, безнадежно, безобразно, позорно, люблю – плохие. О, совсем плохие! Не Надсона (я перед ним преклоняюсь!) и не Апухтина (за «Очи черные»!), а такие, Марина, которых никто не писал и все – знают. Стихи

из Чтеца-декламатора, Марина, теперь поняли?

Ее в грязи он подобрал,
Чтоб угождать ей – красть он стал.
Она в довольстве утопала
И над безумцем хохотала.

Он из тюрьмы ее молил:
Я без тебя душой изныл!
Она на тройке пролетала
И над безумцем хохотала.

И в конце концов – его отвезли в больницу, и —

Он умирал. Она плясала,
Пила вино и хохотала.

(О, я бы ее убила!) И кажется даже, что когда он умер и его везли на кладбище, она —

За гробом шла – и хохотала!

Но может быть это я уж сама выдумала, чтобы еще больше ее ненавидеть, потому что я такого никогда не видала: чтобы за гробом шли – и хохотали, – а вы?

Но вы может быть думаете, это – плохие? Тогда – слушайте. О, Господи, забыла! забыла! забыла! забыла, как начинается, только помню – как кончается!

А граф был демонски-хорош!
.....
А я впотьмах точила нож, —
А граф был демонски-хорош!

Стойте, стойте, стойте!

Взметнулась красная штора:
В его объятиях – сестра!

Тут она их обоих убивает, и вот, в последнем куплете, сестра лежит с оскаленным страшным лицом, а – *граф* был демонски-хорош!

А «бледно-палевую розу» – знаете? Он встречается ее в парке, а может быть в церкви, и ей шестнадцать лет, и она в белом платье...

И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

Потом она, конечно, пускается в разврат, и он встречается ее в ресторане, с военными, и вдруг она его видит!

В твоих глазах дрожали слезы,
Кричала ты: – вина! скорей!
И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

Дни проходили чередой,
В забвеньи я искал отрад,
И вот опять передо мною
Блеснул твой прежний милый взгляд.

Тебя семьи объяла проза,
Ты шла в толпе своих детей,
И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

А потом она умерла, Марина, и лежит в гробу, и он подходит к гробу, и видит:

В твоих глазах застыли слезы...

— и потом уж не знаю что на *ей* —

И бледно-палевая роза
Дрожала на груди твоей.

Дрожала, понимаете, на недышащей груди! А — безумно люблю: и толпу детей, и его подозрительные отрады, и бледно-палевую розу, и могилу.

Но это еще не все, Марина. Это еще — как-то — сносно, потому что, все-таки — грустно. А есть совсем глупости, которые я *безумно* люблю. Вы *это* знаете?

Родилась,
Крестилась,
Женилась,
Благословились.

Родила,
Крестила,
Женила,
Благословила —
Умерла.

Вот и вся — женская жизнь!
А *это вы знаете?*

Перо мое писало
Не знаю для кого..

Я:

— А сердце подсказало:
Для друга моего.

Сонечка:

— Дарю тебе собачку,
Прошу ее любить,
Она тебя научит,
Как друга полюбить.

– Любить – полюбить – разве это стихи, Марина? Так и я могу. А я и перо вижу – непременно гусиное, все изгрызанное, а собачка, Марина, с выющимися ушами, серебряно-шоколадная, с вот-вот заплачущими глазами: у меня самой бывают такие глаза.

Теперь, Марина, на прощание, мои самые любимые. Я – серьезно говорю. (С вызовом:)
– Лю-би-ме-е ва-ших.

Крутится, вертится шар голубой,
Шар голубо-ой, побудь ты со мной!
Крутится, вертится, хочет упасть,
Ка-ва-лер ба-рыш-ню хочет украсть!

Нет, Марина! не могу! я это вам – спою!

(Вскакивает, заносит голову и поет то же самое. Потом, подойдя и становясь надо мной:)

– Теперь скажите, Марина, вы это – понимаете? Меня, такую, можете любить? Потому что это мои самые любимые стихи. Потому что это (закрытые глаза) просто – блаженство. (Речитативом, как спящая:) – Шар – в синеве – крутится, воздушный шар Монгольфьер, в сетке из синего шелку, а сам – голубой, и небо – голубое, и тот на него смотрит и безумно боится, чтобы он не улетел совсем! А шар от взгляда начинает еще больше вертеться и вот-вот упадет, и все монгольфьеры погибнут! И в это время, пользуясь тем, что тот занят шаром...

Ка-ва-лер ба-рыш-ню хочет украсть!

Что к этому прибавить?

– А вот еще это, Сонечка:

Тихо дрогнула портьера.
Принимала комната шаги
Голубого кавалера
И слуги...

Всё тут вам, кроме барышни – и шара. Но шар, Сонечка, – *земной*, а от барышни он – идет. Она уже позади, кончилась. Он ее *уже* украл и потом увидел, что – незачем было.

Сонечка, ревниво: – Почему?

Я: – А потому, что это был – поэт, которому не нужно было украсть, чтобы иметь. Не нужно было – иметь.

– А если бы это я была – он бы тоже ушел?

– Нет, Сонечка.

– О, Марина! Как я люблю боль! Даже – простую головную! Потому что зубной я не знаю, у меня никогда не болели зубы, и я иногда плакать готова, что у меня никогда не болели зубы, – говорят, такая чу-удная боль: ну-удная!

– Сонечка, вы просто с ума сошли! Тьфу, тьфу, не сглазить, чертовка! Вы Malibran знаете?

– Нет.

– Певица.

– Она умерла?

– Около ста лет назад и молодая. Ну, вот, Мюссе написал ей стихи – Stances a la Malibran – слушайте:

(И меняя на Сонечку некоторые слова:)

...Ne savais tu donc pas, comedienne imprudente,
Que ces cris insenses qui sortaient de ton coeur
De ta joue amaigrie augmentaient la chaleur?
Ne savais-tu donc pas que sur ta tempe ardente
Ta main de jour en jour se posait plus brûlante,
Et que c'est tenter Dieu que d'aimer la douleur!³⁰

...Странные есть совпадения. Нынешним летом 1937 г., на океане, в полный разгар Сонечкиного писания, я взяла в местной лавке «Souvenirs», одновременно и библиотеке, годовой том журнала «Lectures» – 1867 г. – и первое, что я увидела: Ernest Legouve – Soixante ans de souvenirs – La Malibran (о которой я до этого ничего не знала, кроме стихов Мюссе).

«Quoi qu'elle fût l'image même de la vie et que l'enchantement pût passer pour un des traits dominants de son caractère, l'idée de la mort lui était toujours présente. Elle disait toujours qu'elle mourrait jeune. Parfois comme si elle eût senti tout a coup je ne sais quel souffle glace, comme si l'ombre de l'autre monde se fût projetée dans son âme, elle tombait dans d'affreux accès de mélancolie et son coeur se noyait dans un déluge de larmes. J'ai la sous les yeux ces mots écrits de sa main: – Venez me voir tout de suite! J'étouffe de sanglots! Toutes les idées funèbres sont à mon chevet et la mort à leur tête...»³¹

Что это, как не живая Сонечкина «записочка»?

Встречи были – каждый вечер, без уговора. Приходили они врозь и в разное время, из разных театров, из разных жизней. И всегда Сонечка хотела – еще остаться, последняя остаться, но так как это было бы – не идти домой с Володей, я всякий раз на совместном уходе – настаивала. – Идите, Сонечка, а то я потом неизбежно пойду вас провожать, и у вас пропаду, и Аля будет голодная – и т. д. Идите, моя радость, ведь день – скоро пройдет!

Мне хорошо и сохранно было их отпускать – в рассвет.

Иногда я их, в этот рассвет до угла Борисоглебского и Поварской, провожала.

– Aimez-vous bien, vous qui m'avez aimée tous deux, et dotes-vous parfois mon nom dans un baiser...³²

– Марина! А оказывается Володя – влюблен! Когда увидели, что я – в него – потому

30

Разве не знала ты, неосторожная актриса,
Что от иступленных криков, которые выходили из твоего сердца,
Твои исхудалые щеки запыхают еще ярче?
Разве не знала ты, что, касаясь воспаленного чела,
Твоя рука с каждым днем становилась все горячее
И что любить страдание – значит искушать Бога? (фр.)

³¹ Эрнст Легуве. «Шестьдесят лет воспоминаний – Малибран». Несмотря на то, что сама она была воплощенная жизнь и одной из главных черт ее характера было очарование, – ее никогда не покидала мысль о смерти. Она всегда говорила, что умрет молодой. Порой, словно ощущая некое леденящее дуновение и чувствуя, как тень иного мира прикасается к ее душе, она впадала в ужасную меланхолию, сердце ее тонуло в потоке слез. У меня перед глазами стоят сейчас слова, написанные ее рукой: «Приходите ко мне немедленно! Я задыхаюсь от рыданий! Все мрачные видения столпились у моего изголовья и смерть – впереди всех...» (фр.).

³² Любите друг друга, вы, прежде любившие меня оба, и иногда, при поцелуе, произносите мое имя... (фр.).

что я все время о нем говорю: чтобы произносить его имя – мне сразу рассказали, что он на днях в кафе «Электрик» целый вечер не сводил глаз с танцовщицы, которая танцевала на столе – и даже не допил своего стакана.

Я, когда узнала, сразу ему сказала: – Как вам не стыдно, Володя, ходить к Марине и заглядываться на танцовщицу! Да у Марины из каждого рукава ее бумазейного платья – по сотне гурий и пэри! Вы просто – дурак! И сразу ему сказала, что вам непременно скажу – и он очень испугался, Марина, весь потемнел и стал такой злой, такой злой! И знаете, что он мне сказал? «Я всегда думал, что вы *такая* только с М. И., что это *она* – в вас. А теперь я это – знаю». И пошел. Теперь посмотрите, какой он к вам придет – поджатый!

Пришел не поджатый, а озабоченный, и сразу:

– М. И., вы должны правильно понять меня с этим рассказом Софьи Евгеньевны, как до сих пор меня правильно во всем понимали.

– Володя! Разве я вам объясняла З-ского? Есть такая сказка – норвежская, кажется, – «Что старик делает – все хорошо». А старик непрерывно делает глупости: променивает слиток золота на лошадь, лошадь на козу, и так далее, и, в конце концов, кошку на катушку, а катушку на иголку, а иголку теряет у самого дома, когда перелезает через плетень – потому что не догадался войти в калитку. Так будем друг для друга тем стариком, то есть: лишь бы *ему* – хорошо! и лишь бы *цел* вернулся! – тем более, что я сама способна три минуты глядеть на танцовщицу – только бы она не говорила.

Володя! А как бы противно было, если бы сказку пустить – наоборот, то есть – иголку на катушку, катушку на овцу, и, наконец, лошадь на золото? Ох, паршивый бы старик!

– Поганный бы старик, М. И.! Такими «стариками» сейчас вся Москва полна. От них-то я и...

– ...Нет, М. И., я на нее не «заглядывался». Я на нее – задумался. Вот, мир рухнул, от старого не осталось ничего, а это – вечно: стол – и на нем танцующая пустота, танцующая – вопреки всему, пустота – вопреки всему: всему – *уроку*.

Говорят, – таких любят...

Я, если когда-нибудь женюсь, – то только на сестре милосердия. Чтобы в детях моих текла – *человеческая* кровь.

– Марина, если бы вы знали, как Володя целует, – так крепко! так крепко! (с лукавой усмешкой) – точно я стена! У меня сегодня весь день лицо горит.

К радости своей скажу, что у него никогда не было попытки объяснить мне свои отношения с Сонечкой. Он знал, что я знаю, что это – последний ему данный шаг *ко мне*, что это – сближение, а не разлука, что, ее целуя, он и меня целует, что он нас всех – себя, ее, меня – нас всех втроем и всю весну 19-го года – в ее лице – на ее личике – целует.

Всякая попытка *словами* – была бы унижение и конец.

А – Сонечка? Она лепетала и щебетала, склоняя, спрягая, складывая, множа и сея Володю вдоль и поперек всей своей речи, она просто ему – радовалась, невинно – как в первый день земли.

Сидели – так: слева Володя, справа я, посредине – Сонечка, мы оба – с Сонечкой посредине, мы взрослые – с ребенком посредине, мы, любящие – с любовью посредине. Обнявшись, конечно: мы – руки друг другу через плечи, она – в нас, в нашем далеком объятии, розня нас и сближая, дав каждому по одной руке и каждому по всей себе, всей любви. Своим маленьким телом уничтожая всю ту бывшую нашу с Володией разлучную вёрсту.

Сонечка в нас сидела, как в кресле – с живой спинкой, в *плетеном* кресле из наших сплетенных рук. Сонечка в нас лежала, как в колыбели, как Моисей в плетеной корзине на водах Нила.

А граммофон, из темного угла вытягивая к нам свое вишневое деревянное певчее горло, пел и играл нам – все, что умел, все, что «умели» – мы: нашу молодость, нашу

любовь, нашу тоску, нашу разлуку.

И когда я, потом, перед отъездом из России, продала его татарину, я часть своей души продала – и всю свою молодость.

...Блаженная весна, которой нет на свете...

Так и сказались, на нас троих, стихи Павлика, когда-то – уже вечность назад! – услышанные мною в темном вагоне – от уже давно убитого и зарытого:

Блаженная весна – которой нет на свете!
Которую несут – Моцарт или Россети...
Игрушка – болтовня – цветок – анахронизм, —
Бесцельная весна – чье имя – Романтизм.

Сколько это длилось, эти наши бессонные совместные ночи? По чувству – вечность, но по тому же чувству: одну единую бесконечную быстротечную ночь, и странно: не черную, не лунную – хотя наверное было черно, или наверное была луна – и не синюю от фонаря, который *не* горел, потому что с весной погасло все электричество, а какую-то серебряную, рассеянную, сновиденную, рассветную, сплошь – рассветную, с нашими мерцающими во мгле лицами, а может быть она в памяти осталась такой – по слову Сонечки:

– Марина! Я поняла, да ведь это – Белые Ночи! Потому что я сейчас тоже люблю – двоих. Но почему же мне так хорошо? А вам, Марина?

– Потому что не двоих, а – обоих, Сонечка! И я тоже – обоих. И мне тоже «так хорошо». А вам, Володя?

– Мне (с глубоким вздохом) *хорошо*, Марина Ивановна!

– Сонечка, почему вы никогда не носите бус?

– Потому что у меня их нет, Марина.

– А я думала – не любите...

– О, Марина! Я бы душу отдала за ожерелье – коралловое.

– А сказку про коралловое ожерелье – хотите? Ну, слушайте. Ее звали Ундина, а его Гюльдбранд, и он был рыцарь, и его загнал поток к ним в хижину, где она жила со стариком и старухой. А поток был ее дядя – дядя Струй, который нарочно разлился так широко, чтобы рыцаря загнать в хижину, а хижину сделать островом, с которого ему не выбраться. И тот же поток загнал к ним старого патера, и он их обвенчал, и она получила живую душу. И сразу переменялась: из бездушной, то есть счастливой, сделалась несчастной, то есть любящей – и я убеждена, что он тут же стал меньше любить ее, хотя в сказке этого не сказано. И потом он увез ее в свой замок – и стал любить ее все меньше и меньше – и влюбился в дочь герцога – Бертальду. И вот они все втроем поехали в Вену, водою, Дунаем, и Бертальда с лодки играла в воде своим жемчужным ожерельем – вдруг из воды рука и с дьявольским хохотом – цап ожерелье! И вся вода вокруг покрылась харями, и лодка чуть не перевернулась. Тогда Рыцарь страшно рассердился, и Ундина зажала ему рукою рот, умоляя его не бранить ее на воде, потому что на воде сильна ее родня. И Рыцарь утихомирился, а Ундина наклонилась к воде и что-то ластиво и долго ей говорила – и вдруг вынула – вот это вот!

– О, Марина! Что это?

– Кораллы, Сонечка, Ундино ожерелье.

Эти кораллы мне накануне принес в подарок мой брат Андрей.

– Марина! Смотри, что я тебе принес!

Из его руки на стол и через край его – двойной водопад огромных, темно-вишнево-винных, полированных как детские губы, продолговатых – бочоночком – каменных виноградин.

– В одном доме продавали, и я взял для тебя, – хотя ты и блондинка, но все равно носи,

таких вторых не достанешь.

– Но что это за камень?

– Кораллы.

– Да разве такие – бывают?

Оказалось – бывают. Но одно тоже оказалось – сразу: *такое* моим – не бывает. Целый вечер я их держала в руках, взвешивала, перебирая, перетирая, водя ими вдоль щеки и вдоль них – губами, – губами пересчитывала, перечитывала как четки, – целый вечер я с ними прощалась, зная, что если есть под луною рожденный владелец этой роскоши, то этот владелец —

– О, Марина! Эти – кораллы? Такие громадные? Такие темные? Это – ваши?

– Нет.

– Какая жалость! Чьи же?

– Ваши, Сонечка. – Вам.

И... не переспросив, так и не сомкнув полураскрытых изумлением губ – в слово, окаменев, все на свете – даже меня! – забыв, обеими руками, сосредоточенно, истово, сразу – надевает.

Так Козэтта некогда взяла у Жана Вальжана куклу: немота от полноты.

– О, Марина! Да ведь они мне – до колен!

– Погодите, состаритесь – до земли будут!

– Я лучше *не* состарюсь, Марина, потому что разве старухе можно носить – такое?

Марина! Я никогда не понимала слово счастье. Тонким пером круг – во весь небосвод, и внутри – ничего. Теперь я сама – счастье. Я плюс кораллы – знак равенства – счастье. И – решена задача.

Сжав их в горсть – точно их сожмешь в такой горсти, вмещающей ровно четыре бусины, залитая и заваленная ими, безумно их: пьет? ест? – целует.

И, словом странным именно в такую минуту:

– Марина! Я ведь знаю, что я – в последний раз живу.

Что кораллы были для Сонечки – Сонечка была для меня.

– А что же с тем ожерельем – Ундининым?

– Она его подала Бертальде – взамен *того* ожерелья, а Рыцарь вырвал его у Бертальды и бросил в воду и проклял Ундину и всю ее родню... и Ундина уже не смогла оставаться в лодке... Нет, слишком грустный конец, Сонечка, плакать будете... Но знайте, что это ожерелье – то самое, дунайское, из Дуная взятое и в Дунай вернувшееся, ожерелье переборотой ревности и посмертной верности, Сонечка... мужской благодарности...

С этих кораллов началось прощание. Эти кораллы уже сами были – прощание. Не дарите любимым слишком прекрасного, потому что рука, подавшая, и рука, принявшая, неминуемо расстанутся, как уже расстались – в самом жесте и дара и принятия, жесте разъединяющем, а не сводящем: рук пустых – одних и полных других – рук. Неминуемо расстанутся, и в щель, образуемую самим жестом дара и взятия, взойдет все пространство.

Из руки в руку – разлуку передаете, льете такими кораллами!

Ведь мы такие «кораллы» дарим – вместо себя, от невозможности подарить – себя, в возмещение за себя, которых мы этими кораллами у другого – отбираем. В таком подарке есть предательство, и недаром вещи сердцем их – боятся: – «Что ты у меня возьмешь – что мне такое даришь?» Такие кораллы – откуп: так умирающему приносят ананас, чтобы не идти с ним в черную яму. Так каторжанину приносят розы, чтобы не идти с ним в Сибирь.

– Марина! Я еду со Студией.

– Да? На сколько дней? Куда-нибудь играть?

– Далёко, Марина, на все лето.

«Все лето», когда любишь – вся жизнь.

Оттого, что такие подарки всегда дарились на прощание: в отъезд, на свадьбу, на день рождения (то есть на то же прощание: с данным годом любимого, с данным годом любви) – они, нагруженные им, стали собой разлуку – вызывать: из сопровождения его постепенно стали его символом, потом сигналом, а потом и вызовом его к жизни: им самим.

Может быть – не подари я Сонечке кораллов...

Пятнадцать лет спустя, идя в Париже по Rue du Vas, где-то в угловой, нишей, витрине антиквара – я их увидела. Это был удар прямо в сердце: ибо из них, с бархатного нагрудника, на котором они были расположены – внезапный стебелек шеи и маленькое темно-розовое темноглазое лицо, с губами – в цвет: темно-вишнево-винными, с теми же полосами света, что на камнях.

Это было – секундное видение. Гляжу – опять темно-зеленый бархат нагрудника с подвешенным ярлыком: цифрой в четыре знака.

Вслед за кораллами потекли платья, фаявое и атласное. Было так. Мы шли темным коридором к выходу, и вдруг меня осенило.

– Сонечка, стойте, не двигайтесь!

Ныряю себе под ноги в черноту огромного гардероба и сразу попадаю в семьдесят лет – и семь лет назад, не в семьдесят семь, а в семьдесят – и семь, в семьдесят – и в семь. Нащупываю – сновиденно-непогрешимым знанием – нечто давно и заведомо от тяжести свалившееся, оплывшее, осевшее, разлегшееся, разлившееся – целую оловянную лужу шелка и заливаюсь ею до плеч.

– Сонечка! Держите!

– Ой, что это, Марина?

– Стойте, стойте!

И новый нырок на черное дно, и опять рука в луже, но уже не оловянной, а ртутной – с водой убегающей, играющей из-под рук, несобираемой в горсть, разбегающейся, разлетающейся из-под гребущих пальцев, ибо если первое – от тяжести – осело, второе – от легкости – слетело: с вешалки – как с ветки.

И за первым, осевшим, коричневым, фаявым – прабабушки графини Ледоховской – прабабушкой графиней Ледоховской – не сшитым, ее дочерью – моей бабушкой – Марией Лукиничной Бернацкой – не сшитым, ее дочерью – моей матерью – Марией Александровной Мейн – не сшитым, сшитым правнучкой – первой Мариной в нашем польском роду – мною, моим, семь лет назад, девичеством, но по *крою* – прабабушки: лиф как мыс, а юбка как море

—

– А теперь, Сонечка, держитесь!

И на уже погнувшейся, подавшейся под тяжестью четырех женских поколений Сонечке – поверх коричневого – синее: синее с алым, лазурное и безумное, турецкое, купецкое, аленько-цветочкинское, само – цветок.

– Марина! – Сонечка, пошатнувшись, а главное ничего не видя и не понимая, ни синевы второго, ни конского каштана первого, ибо градероб – грот, а коридор – гроб... (О, темные места всех моих домов – бывших, сущих, будущих... О, темные дома!.. Не от вас ли мои стихотворные «темноты»? – *Ich glaube an Nächte*³³.).

Проталкиваю перед собой, как статую бы на роликах, остолбенелую, совсем исчезнувшую под платьями Сонечку полной тьмой коридора в полутьму столовой: освещавший ее «верхний свет» уже два года как не чищен и перешел в тот свет – из столовой, очередным черным коридором – черным ущельем сундуков и черным морем рояля – в Алину детскую – свет! – наконец-то!

Ставлю ее, шатающуюся и одуренную темными местами, как гроб молчащую – перед

³³ Я верю ночам (нем.).

огромным подпотолочным зеркалом:

– Мерьте!

Жмурится, как спросонья, быстро-быстро мерцает черными ресницами, неизвестно – рассмеется или заплачет...

– Это – платья. Мерьте, Сонечка!

И вот – секундное видение – белизны и бедности: белого выреза и бедных кружев: оборка юбки, вставка рубашки – секундное полное исчезновение под огромным колоколом юбки – и – в зеленоватой воде рассветного зеркала: в двойной зелени рассвета и зеркала – другое видение: девушки, прабабушки сто лет назад.

Стоит, сосредоточенно застегивает на все подробности его двенадцати пуговиц обтяжной лиф, расправляет, оправляет мельчайшие сборки пояса, провожает их рукой до огромных волн подола...

Ловлю в ее глазах – счастье, счастья – нет, есть страшный, детский смертный серьез – девушки перед зеркалом. Взгляд – глубочайшей пытливости, проверки всех данных (и неданных!), взгляд Колумба, Архимеда, Нансена. Взгляд, длящийся – час?

И, наконец: – Чу-удесно, Марина! Только длинно немножко.

(Длинно – очень, тех злосчастных «битюгов» – и носов не видать!)

Стоит, уже счастливая, горячо-пылающая, кланяется себе в зеркале, себе – в зеркало, и, отойдя на три шага, чуть приподняв бока стоящей от тяжести робы – глубокий девичий прабабушкин реверанс.

– Да ведь это платье – бал, Марина! Я – уже плыву! Я и не двигаюсь, а оно уже плывет! Оно – вальс танцует, Марина! Нет – менуэт! И вы мне его дадите надеть?

– А как вы думаете?

– Дадите, дадите! И я в нем буду стоять за спинкой моего стула – какие мы с тем стулом были бедные, Марина! – но и оно не богатое, оно только – благородное, это то, в котором Настенька ходила на «Севильского цирюльника»! еще ее бабушки! (нужно будет вставить!) На сегодня дадите, Марина? Потому что мне нужно будет еще успеть подшить подол.

– На сегодня – и на завтра – и насовсем.

– Что-о? Это – мне? Но ведь это же рай, Марина, это просто во сне снится – такие вещи. Вы не поверите, Марина, но это мое первое шелковое платье: раньше была молода, потом папочка умер, потом – Революция... Блузки были, а платья – никогда. (Пауза.) Марина! Когда я умру, вы в этом меня положите. Потому что это было – первое такое счастье... Я всегда думала, что люблю белое, но теперь вижу, что это была бездарность. И бедность. Потому что другого не было. Это же – мне в цвет, мне в *масть*, как вы говорите. Точно меня бросили в котел, всю: с глазами, с волосами, со щеками, и я вскипела, и получилось – это. А как вы думаете, Марина, если бы я, например, в провинции этим летом вышла замуж – я знаю, что я *не* выйду, но если – можно мне было бы венчаться – в синем? Потому что – мне рассказывали – теперь даже в солдатском венчаются – невесты, то есть. Будто бы одна даже венчалась в галифэ. То есть – хотела венчаться, но батюшка отказался, тогда она отказалась – от церковного брака.

Решено, Марина! Венчаюсь – в синем, а в гробу лежу – в шоколадном!

После платьев настал – желтый сундук.

Узнав, что она едет, я с нею уже почти не расставалась – брала с утра к ней Алю и присутствовала при всей ее остающейся жизни. (И откуда-то, из слуховых глубин слово: *regne*³⁴. Канада, где по сей день вместо *vie*³⁵ говорят *regne*, о самой бедной невидной

³⁴ Царство (*фр.*) .

³⁵ Жизнь (*фр.*) .

человеческой жизни, о жизни дроворуба и плотогона – regne. Mon regne. Ton regne³⁶. Так, на французском канадском эта Сонечкина остающаяся жизнь, в порядке всех остальных, была бы regne, la fin de son regne³⁷. И меня бы не обвиняли – в гиперболе:

Великий народ, так называющий – жизнь.)

– Ну, Марина, нынче я укладываюсь!

Сижу на подоконнике. Зеленое кресло – пустое: Сонечка раскладывается и укладывается, переносит, с места на место, как кошка котят, какие-то тряпочки, бумажечки, коробочки... Открывает желтый сундук. Подхожу и я – наконец посмотреть приданое.

Желтый сундук – пуст: на дне желтого сундука только новые ослепительно-рыжие детские башмаки.

– Сонечка? Где же приданое?

Она, держа в каждой руке по огромному башмаку, еще крупнейшему – от руки:

– Вот! Сама купила – у нас в Студии продавались по случаю, чьей-то сестры или брата. И я купила, убедив себя, что это очень практично, потому что такие толстые... Но нет, Марина, не могу: слишком жёсткие, и опять с мордами, с наглыми мордами, новыми мордами, сияющими мордами! И на всю жизнь! До гробовой доски! Теперь я их продаю.

Через несколько дней: – Ну, как, Сонечка, продали башмаки?

– Нет, Марина, мне сказали, что очень просто: прийти и встать – и сразу с руками оторвут. Рвать-то рвали, и очень даже с руками, но, Марина, это такая мука: такие глупые шутки, и такие наглые бабы, и мрачные мужики, и сразу начинают ругать, что подметки картонные, или что не кожа, а какое-то там их «сырье»... Я заплакала – и ушла – и никогда больше не буду продавать на Смоленском.

А еще день спустя, на тот же мой вопрос: – О, Марина! Как я счастлива! Я только что их подарила. Хозяйской девчонке – вот радость была! Ей двенадцать лет, и ей как раз. Я думала Алечке – но Алечке еще целых шесть лет ждать – таких морд, от которых она еще будет плакать! А хозяйская Манька – счастлива, потому что у нее и ноги такие – мордами.

В один из ее предотъездных дней я застала у нее громадного молодого солдата, деликатно присевшего с краю пикейного одеяла, разложив по защитным коленам огромные руки: раки.

– А это, Марина, мой ученик – Сеня. Я его учу читать.

– И хорошо идет?

– Отлично, он страшно понятливый, – да, Сеня?

– Как сказать, Софья Евгеньевна...

– Уже по складам, или пока только буквы?

– Сеня! (Сонечка, заливаясь) Марина Ивановна – потому что эту гражданку зовут Марина Ивановна, она знаменитая писательница – Марина Цветаева, Сеня, запомните, пожалуйста! – Марина Ивановна думала, что я вас *читать* учу, азбуке! Я его читке учу, выразительному чтению... А мы с ним давно-о грамотные, правда, Сеня?

– Второй год, Софья Евгеньевна.

Никогда не забуду тот взгляд глубочайшего обожания, которым солдат отметил это «мы с ним»...

– «Товарищ, товарищ»... А вот меня на улице никто не зовет товарищ, и почти никогда – гражданка, всегда – гражданочка – и сразу всякое такое в рифму. Гражданочка-смугляночка (хотя я вовсе не смуглая, это меня только румянец темнит) – или там: миляночка, а один даже целый стих сочинил:

³⁶ Мое царство. Твое царство (*фр.*) .

³⁷ Царством, окончанием ее мира (*фр.*).

Гражданочка, гражданочка,
Присядь ко мне на лавочку,
Поешь со мной бараночку!

– а я ему: – «А где бараночка? Обещал – так давай? – „А я это только так, гражданочка, для складу, и никакой, к сожалению, бараночки у меня нету, потому что Колчак, сволочь, оголодил, а ежели бы время другое – не только бараночку, а целое стадо бы баранов вам пригнал – для ради ваших прекрасных глазок. Потому что глазки у вас, гражданочка...“ И всё эти глаза, эти глаза. Разве они уж правда – такие особенные? И почему я только солдатам нравлюсь, и вообще швейцарам, и еще старикам, и никогда, никогда – интеллигентам?

Я много раз давала ее протяжное – Марина... (О, Мари-ина... Ах, Мари-ина!) Но было у нее другое Марина, отрывистое, каким-то вздрагиванием верхней губы, и неизбежно предшествующее чему-нибудь смешному: «М'р'н'а (вроде французского Marie) – а вы заметили, как он, когда вы сказали...» Мое имя, бывшее уже дрожанием смеха, уже входившее в смех, так сказать открывавшее руладу, с буквами – пузырящимися под губой.

Моим именем она пела, жаловалась, каялась, томилась, им же – смеялась.

Накануне отъезда она принесла Але свой подарок: «Детство и отрочество» в красном переплете, свое, детское с синими глазами Сережи Ивина и разбитой коленкой его, и целой страницей ласкательных имен.

– О, Марина! Как я хотела подарить вам мою «Неточку Незванову», но у меня ее украли: взяли и не вернули. Марина! Если когда-нибудь увидите – купите себе ее от меня на память, в ней все мое к вам, потому что это повесть о нас с вами, и повесть тоже не окончена – как наша...

Потом был последний вечер, последний граммофон, последнее втроем, последний уход – в последний рассвет.

Пустынная площадь – перед каким вокзалом? Мнится мне – перед Богом-забытым, не знаю – Брянским? наверное – деревянным. Мужики, мешки. Бабы, мешки. Солдаты, мешки. А все же – пусто. Отвесное солнце, лазурь – синее того платья.

Стоим – Сонечка, тот солдат, я.

– А это, Марина, моя ученица!

На нас – заглывая ногами по дюжине булыжников зараз – женский колосс, девический колосс, с русой косой в кулак, в синей юбке до колен, от которых до земли еще добрых пол-сажени, со щеками красного лаку, такого красного и такого лаку, что Сонечкины кажутся бледными.

И Сонечка, в ответ на мой изумленный взгляд:

– Да, и нам всего шестнадцать лет. И мы первый год как из деревни. На сцену хотим. Вот какие у нас на Руси бывают чудеса!

И, приподнявшись на цыпочки, с любовью поглаживает.

Ученица, вопреки всякому правдоподобию еще покраснев, могучим басом:

– Софья Евгеньевна, я вам продовольствия принесла на дорогу. (Вздымая могучий мешок.) Цельный месяц – сыты будете.

Перрон. Сонечка уже внутри. Плачет – из вагона прямо на перрон.

– Марина! Марина! Марина! Марина!

Я, уж не зная чем утешить: – Сонечка! Река будет! Орехи будут!

– Да что вы меня, Марина, за бездушную белку принимаете? (Плача.) – Без вас, Марина, мне и орех не в орех!

...Алечку – поцелуйте!

...Мой граммофон – поцелуйте!

...Володечку – поцелуйте!

1

Бесценная моя Марина!

Все же не могла – и плакала, идя по такой светлой Поварской в сегодняшнее утро, – будет, будет, и увижу вас не раз и буду плакать не раз, – но *так* – никогда, никогда —

Бесконечно благодарю вас за каждую минуту, что я была с вами, и жалею за те, что отдавала другим – серьезно, очень прошу прощения за то, что я раз сказала Володе, – что он самый дорогой.

– Самая дорогая – вы, моя Марина.

Если я не умру и захочу снова – осени, сезона, театра, – это только вашей любовью, и без нее умру – вернее без вас. Потому что знать, что вы – есть, знать, что Смерти – нет. А Володя своими сильными руками сможет вырвать меня у Смерти?

Целую тысячу раз ваши руки, которые должны быть только целуемы – а они двигают шкафы и поднимают тяжести – как безмерно люблю их за это.

Я не знаю, что сказать еще – у меня тысяча слов – надо уходить. Прощайте, Марина, – помните меня – я знаю, что мне придется все лето терзать себя воспоминаниями о вас, – Марина, Марина, дорогое имя, – кому его скажу?

Ваша в вечном и бесконечном Пути – ваша Соня Голлидэй (люблю свою фамилию – из-за Ирины, девочки моей).

2

Вещи уложены. – Жизнь моя, прощайте! – Сколько утр встречала я на зеленом кресле – одна с мыслями о вас. Люблю все здесь – потому что вы здесь были.

Ухожу с болью – потому же.

– Марина – моя милая, прекрасная – я писать не умею и я так глупо плачу.

Сердце мое – прощайте.

Ваша Соня .

3

(Але)

Целую Тебя, маленькие тоненькие ручки, которые обнимали меня – целую, – до свидания, моя Аля – ведь увидимся?

Наколдуй счастье и Большую Любовь – мне, маленькой и не очень счастливой.

Твоя Соня.

4

20-го июня (7-го старого стиля) 1919 г.

Моя дорогая Марина – сердце мое – я живу в безмерной суматохе – все свистят, поют, визжат, хихикают – я не могу собраться с мыслями – но сердцем знаю о своей любви к вам, с которой я хожу мои дни и ночи.

Мне худо сейчас, Марина, я не радуюсь чудесному воздуху, лесу и жаворонкам, – Марина, я тогда все это знаю, чувствую, понимаю, когда со мной – вы, Володя, мой Юрочка – даже граммофон – я не говорю о Шопене и «Двенадцатой рапсодии», – когда со мной Тот,

которого я не знаю еще – и которого никогда не встречу.

Я могу жить с биением пульса 150 даже после мимолетной встречи глазами (им нельзя запретить улыбнуться!) – а тут я одна – меня обожают деревенские девчонки – но я же одинока, как телеграфные столбы на линии железной дороги. Я вчера долго шла одна по направлению к Москве и думала: как они тоскуют, одинокие, – ведь даже телеграммы не ходят! – Марина, напишу вам пустой случай, но вы посмеетесь и поймете – почему я сегодня в тоске.

Вчера сижу у Евгения Багратионовича и веду шутя следующий диалог с бабой:

Баба: – Красавица, кому папиросы набиваешь? Муженьку?

Соня: – Да.

Баба: – Тот, что в белых брюках?

Соня: – Да.

Баба: – А что же ты с ним не в одной избе живешь?

Соня: – Да он меня прогнал. Говорит, больно подурнела, – а вот папиросы набивать велит – за тем и хожу только, а он другую взял.

Вечер того же дня.

Баба ловит Вахтангова и говорит:

– Что ж ты жену бросил, на кого променял? Ведь жена-то красавица, – а кого взял? – Не совестно? – Живи с женой!

Ночь того же дня.

Я мою лицо в сенях. Входит Вахтангов:

– Софья Евгеньевна, что вы – ребенок или авантюристка? – и рассказ – бабы.

Убегаю от Вахтангова и безумно жалею, что не с ним.

Это пустое все. – Марина, пишите, радость моя – пишите. С завтрашнего дня я въезжаю в отдельную комнату и буду писать дневник для вас, моя дорогая. – Пишите, умоляю, я не понимаю, как живу без вас... Письма к Г-ру – и пусть Володя тоже. – Что он?

– Марина, увозят вещи – надо отнести письмо – не забывайте меня. Прошу, умоляю – пишите.

О, как я плакала, читая ваше последнее письмо, люблю вас. – Целую ваши бесценные руки, ваши длинные строгие глаза и – если б можно было поцеловать – ваш обворожительно-легкий голос.

Я живу ожиданием ваших писем. Алечку и Ирину целую. – Мой граммофон, – где все это?

Ваш С.

5

(Последнее)

1-го июля (20-го июня старого стиля) 1919 г.

Заштатный город Шишкеев.

– Марина, – вы чувствуете по названию – где я?! – Заштатный город Шишкеев – убогие дома, избы, бедно и грязно, а лес где-то так безбожно-далеко, что я за две недели ни разу не дошла до него. – Грустно, а по вечерам душа разрывается от тоски, и мне всегда кажется, что до утра я не доживу.

По ночам я писала дневник, но теперь у меня кончилась свеча, и я подолгу сижу в темноте и думаю о вас, моя дорогая Марина. – Такая нежданная радость – ваше письмо. – Боже мой, я плакала и целовала его и целую ваши дорогие руки, написавшие его.

– Марина, когда я умру, на моем кресте напишите эти ваши стихи:

...И кончалось все припевом:
Моя маленькая!

– Такое изумительное стихотворение. —

– Марина, сердце мое, я так несвязно пишу. Сейчас день самый синий и жаркий, – так все шумит, что я не могу думать. – Я пишу, безумно торопясь, так как Вахтанг Леванович едет в Москву – и мне сроку полчаса. – Марина, умоляю вас, мое сердце, моя Жизнь – Марина! – не уезжайте в Крым пока, до 1-го августа. Я к 1-му приеду, я умру, если не увижу вас, – мне будет нечем жить, если я еще не увижу вас.

– Марина, моя любимая, моя золотая, не уезжайте – я не знаю, что еще сказать.

Люблю вас больше всех и всего и – что бы я ни говорила – через все это.

– Марина, милая, нежная, дорогая, целую вас, ваши глаза, руки, целую Алечку и ее ручки за письмо, – презираю отца, сына и его бездарную любовь к «некоей замужней княгине», – огорчена, что Володя не пишет, по-настоящему огорчена. —

Сердце мое, Марина, не забывайте меня.

Ваша Соня.

Дневник пишу для Вас.

По дороге в Рузаевку я дала на одной из станций телеграмму Володе:

Целую вас – через сотни
Разъединяющих верст!

Даю телеграфисту, а он не берет срочно подобную телеграмму, – говорит, это не дело. Еле умолила.

Целую.

Молюсь за вас.

P. S. – Против моего дома церковь, я хожу к утрени и плачу.

Соня.

После Сонечкиного отъезда я малодушно пошла собирать ее по следам. Мне вдруг показалось – я вдруг приказала себе поверить, что – ничего особенного, что в ее окружении – все такие.

Но, к своему удивлению, я вскоре обнаружила, что Сонечки все-таки – как будто – нет, совершенно так же, как за неимением папиросы машинально суешь себе в рот – что попало длинного: карандаш – или зубную щетку – и некоторое время успокаиваешься, а потом, по прежнему недоумению, замечаешь, что – не то взял.

Студийцы меня принимали, по следу Сонечкиной любви, отлично, сердечно, одна студийка даже предложила мне, когда Ирина вернется из деревни, взять ее с собой – в какую-то другую деревню... мы несколько раз с ней встретились – но – она была русая и голубоглазая – и вскоре обнаружилось, что Сонечка совсем ни при чем. Это была – моя знакомая. Моя чужая новая знакомая.

Как в книге – «продолжение следует», здесь продолжения – не следовало.

Продолжение следовало – с Володей, наше продолжение, продолжение прежних нас, до-Сонечкиных, не разъединенных и не сближенных ею. Казалось бы – естественно: после исчезновения между нами ее крохотного физического присутствия, нам это крохотное физическое отсутствие, чуть подавшись друг другу, восполнить, восполнить – собою, то есть просто сесть рядом, оказаться рядом. Но нет – как по уговору – без уговору – мы с ее

исчезновением между нами – отсели, он – в свой далекий угол, я – на свой далекий край, на целую добрую полуторную Сонечкину длину друг от друга. Исчезнувшая между нами маленькая черная головка наших голов не сблизилась. Как если бы то, с Сонечкой, нам только снилось и возможно было только с ней: только во сне.

Но тут должно прозвучать имя: Мартин Иден.

– Это – больше, чем можно сказать: и вещь, и герой, и автор. Больше, чем *мне* можно сказать... Когда-нибудь, когда расстанемся... – Марина Ивановна, прочтите Мартина Идена, и когда дойдете до места, где белокурый всадник на белом коне – вспомните и поймите – меня.

Девятнадцать лет спустя, девятнадцать с половиной лет спустя, в ноябре 1937 г., иду в дождь, в Париже, по незнакомой улочке, с русским спутником Колей – чуть постарше тогдашнего Володи.

– Марина Ивановна! А вот книжки старые – под дождем – может быть хотите посмотреть?

Приоткрываю брезент: на меня глазами глядит Мартин Иден.

Теперь – пояснение. Дико было бы подумать обо мне, живущей только мечтой и памятью, что я то Володино завещание – забыла.

Но – так просто войти в лавку и спросить Мартина Идена?

Как Володя когда-то вошел в мою жизнь – сам, как все большое в моей жизни приходило само – или вовсе не приходило, так и Мартин Иден должен был прийти сам.

Так и пришел – ныне, под дождем, по случайному слову спутника.

Так и предстал.

Мне оставалось – только протянуть руку: ему, утопающему под дождем и погибающему от равнодушия прохожих. (Вспомним конец Мартина Идена и самого Джека Лондона!)

В благополучной лавке – нового неразрезанного Мартина Идена, любого Мартина Идена, очередной экземпляр Мартина Идена – было бы предательством самого Володи, тройным предательством: Джека Лондона, Мартина Идена и Володи. Торжеством той *la Chose Etablie*³⁸, биясь об которую они все трое жизнь отдали.

А так – под дождем – из-под брезента – в последнюю минуту перед закрытием – из рук равнодушной торговли – так это просто было спасением: Мартина Идена и памяти самого Володи. Здесь Мартин Иден во мне нуждался, здесь я ему протягивала руку помощи, здесь я его, действительно, рукой – выручила.

И вот, в конце этой бессмертной книги – о, я того белокурого всадника тоже не искала, и даже не ждала, зная, что предстанет – в свой срок на своей строке! – в конце этого гимна одинокому труду и росту, этого гимна *одиночеству* в уже двенадцатый его час в мире...

– видение белого, но не всадника: гребца, пловца, тихоокеанского белолицего дикаря стойком на щепке, в котором я того белокурого всадника (никогда не бывшего, бывшего только в моей памяти) – узнала.

Девятнадцать лет спустя Мартин Иден мне Володю – подтвердил.

Однажды я читала ему из своей записной книжки – З-ского, Павлика, Сонечку, себя, разговоры в очередях, мысли, прочее – и он, с некоторой шутливой горечью:

– Марина Ивановна, а мне все-таки обидно – почему обо мне ничего нет? о – нас? о – нашем?

...Вы понимаете, я в мире внешнем, в жизни, вас ни к чему не ревную, но в мире мысли и – как бы еще сказать? Я сам никогда ничего не записываю – у меня и почерк детский – я знаю, что все – вечно, во мне – вечно, что все останется и в нужной час – встанет, все,

³⁸ Установленного порядка (*фр.*).

каждое наше с вами слово. У меня даже чувство, что я, записывая, что-то – оскорбил бы, умалил бы... Но вы – другое, вы писательница...

– А вы это когда-нибудь, хоть раз за всю нашу дружбу, заметили, Володя?

Он, усмехнувшись: – Другие – говорили...

– Стойте, Володя! А у меня есть про вас – две строки, конец стихов, никогда не написанных:

Если бы царем вас Бог поставил,
Дали б вам прозвание – Тишайший.

Глазами вижу, как спускает стих себе в грудь и *там* его слушает. И, с началом усмешки:

– Марина Ивановна. Это я только с вами – такой – тихий.

Я еще нигде не сказала об его улыбке: редкой, короткой, смущенной, себя – стыдящейся, из-под неизменно опущенных глаз – тех – снисходительных и даже снисходящих, которыми он смотрел, верней несмотрел на меня, когда я заводила о З-ском. Улыбка с почти насильственным сведением расходящихся губ, приведением их на прежнее место – несмеха. Странно, но верно, и прошу проверить: такая улыбка бывает у двухгодовалых, еще мало говорящих детей, с неизменным отводом, а иногда и зажатием – глаз. Да, у Володи была *детская* улыбка, если отказаться от всех общих мест, которые с детским связаны.

И еще – такая улыбка (скрытого торжества и явного смущения) бывает на лицах очень молодых отцов – над первенцем: непременно – сыном. Если в с трудом сводимых губах было смущение, то в глазах было – превосходство.

Володя, Володя, когда я где-нибудь, на чьем-нибудь лице – двухгодовалого ребенка ли в сквэре, сорокалетнего ли английского капитана в фильме – вижу *начало* этой улыбки – ни сквэра, ни фильма, ни ребенка, ни капитана – то *кончается* эта улыбка – вашей.

И все – как тогда.

Мы с ним никогда не говорили про Сонечку. Я знала, что он ее по-другому любит, чем я, и она его по-другому, чем меня, что мы с ним на ней не споемся, что для него она – меньше, чем есть, потому что была с ним – меньше, чем есть, потому что всем, что есть – была со мною, а сразу с двумя порознь нельзя быть всем, можно только с двумя вместе, то есть втроем, как оно в нашем втроем и было, а оно – кончилось.

Я даже не знаю, писал ли он ей.

Наша беседа о ней непременно была бы спором, я чувствовала, что у него к ней – нет ключа, – и чтобы все сказать: он для нее был слишком молод, слишком молод для ее ребячества, под которым он в свои двадцать лет не мог прочувствовать всей беды и судьбы. Для него любить было – молиться, как молиться – такому маленькому, которого, и встав на колени, неизбежно окажешься – и выше, и старше?

Смолк и наш граммофон, оказавшийся только Сонечкиным голосом, тем вторым одновременным голосом, на отсутствие которого у себя в груди она так часто и горячо жаловалась.

Сонечка, с граммофоном, с зеленым креслом, с рыжими непроданными башмаками, с *ее* Юрой, с *ее* Володей, и даже с *ее* мною, со всем своим и всей собой, вся переселялась в мою грудь, а я – с нею в груди – вся переселилась в будущее, в день нашей встречи с ней, в который я твердо верила.

Все эти дни без нее – я точно простояла, точно застыла рукой от солнца, как баба в поле – не идет ли? Или проспала, как девочка, которой обещали новую куклу – и вот она все спит, спит, спит, и встает – спит, и ложится – спит, – лишь бы только время прошло! Или – как арестант, ежедневно зачеркивающий на стене еще одну палочку. Как навстречу идут – так я

жила ей навстречу, шла ей навстречу – каждым шагом ноги и каждым мигом дня и помыслом лба – совсем как она, тогда, по шпалам, по направлению к Москве, то есть – ко мне.

О, я совсем по ней не скучала – для этого я слишком ей радовалась!

Вот ее отзвуки – в моей записной книжке тех дней:

«Сейчас предо мной Алины колени и длинные ноги. Она лежит на крыше, спустив ноги на подоконник. – Марина! Вот облако плывет, – может быть это душа вашей матери? – Марина, может быть сейчас к нашему дому подходит Русалочка, – та, которой было триста лет? (И крестится, слышав с улицы музыку.) – Марина! Марина! Марина! Как дым летит, Боже мой! Ведь этот дым летит всюду, всюду! Марина, может быть это дым от поезда, в котором едет Сонечка? – Марина, может быть это дым от костра Иоанны? А сколько душ в этой вышине, правда?»

...»О женщинах не скажу, потому что всех вспоминаю с благодарностью, но люблю только Сонечку Голлидэй».

«Когда я думаю о приезде Сонечки Голлидэй, я не верю; такого счастья не бывает.

Думаю о ней – опускаю главное – как о новом кольце, как о розовом платье, – пусть это смешно звучит: с вождением.

Потому что это не Сонечка приедет – а вся Любовь».

«Мечтаю о Сонечке Голлидэй, как о куске сахара: *верная* – сладость».

(Пусть вся моя повесть – как кусок сахара, мне по крайней мере *сладко* было ее писать!)

– Марина Ивановна! Сегодня наш последний вечер. Я завтра уезжаю на Юг.

– Последний... завтра... Но почему же вы, как вы могли мне раньше...

– Марина Ивановна! – голос настолько серьезный, что даже – остерегающий, – не заставляйте меня говорить того, что не нужно: мне – говорить, вам – слышать. Но будьте уверены, что у меня на то были – серьезные причины.

– Скрыть от меня – конец? Ходить как ни в чем не бывало, а самому – знать? одному знать?

– Ну, если вы уж решительно хотите...

– Ни решительно, ни нерешительно, я просто – ничего не хочу, Бог с вами совсем! Мне просто – все это – приснилось, ну – лишний раз – *все* приснилось!

– Марина Ивановна! Вы все-таки человек, и я – человек, а человеком быть – это чувствовать боль. Зачем же мне, которому вы дали столько радости, только радость, было причинять вам эту боль – до срока? Достаточно было – моей.

– Володя, вы твердо решили?

– Уже чемодан уложен.

– Вы один едете?

– Нет, нас несколько. Несколько – студийцев. Потом я от них отделюсь.

– Я вас правильно понимаю?

– Да.

– А – родители?

– Они думают – играть. Все думают – играть. Только – вы. Марина Ивановна, мне здесь

больше делать нечего. Здесь – не жизнь. *Мне* здесь – не жизнь. Я не могу играть в жизнь, когда другие – живут. Играть, когда другие – умирают. Я не актер.

– Я это – всегда знала.

– А теперь забудем и будем проводить вечер как всегда.

И вечер прошел – как всегда, и *прошел* – как всегда, всякий.

В какую-то его минуту, я – как завеса с глаз!

– А Ангел-то были – вы, Володечка!

– Что? (и, поняв, смущенно) – Ах, вы об этом... (И уже – твердо) – Нет, Марина Ивановна, я – не ангел: моя самая большая мечта когда-нибудь стать человеком.

Потом, тем самым, не своим: Сонечкиным, сонным, спящим, самому себе, не мне – голосом:

– Я может быть был слишком честным...

И, еще спустя:

– Карл Великий – а может быть и *не* Карл Великий – сказал: – «С Богом надо говорить по-латыни, с врагом – по-немецки, с женщиной – по-французски...» (Молчание) – И вот – мне иногда кажется – что я с женщинами говорю по-латыни...

(Если я его тогда не обняла... но он не этого хотел от меня – и не этого от себя со мною...)

Перед самым его уходом, но еще в комнате – уже почти светлой:

– Марина Ивановна, вам всегда нравился мой перстень. Возьмите его! Я с первой минуты хотел вам его подарить, и с тех пор – чуть ли не каждую нашу встречу, но все – чего-то – ждал. Теперь оно настало. Это не подарок, Марина Ивановна, это – дань.

– Володя! Это, кажется, первое кольцо, которое *мне* дарят, всегда – я, и (сняла и держу) если я до сих пор вам не подарила – этого, то только потому, что уже дарила и Ю. З., и Павлику, а скольким – до них! Я не хотела, я не могла, чтобы вы этим – как-то – стали в ряд.

– А *как* я им завидовал! Теперь могу сказать. И Павлику, и З-скому – что с *вашей* руки – и такие прочные! Прямо (смеясь) – сгорал от зависти! Нет, Марина Ивановна, вы мне его непременно дадите, и я этим – не стану в ряд, в Студии – стал бы в ряд, но там, куда я еду... А если бы даже – в *том* ряду стоять не обидно.

Любуюсь: – И щиток – пустой. Для имени. Я так привык его видеть на вашей руке, что теперь моя собственная мне будет казаться вашей. (Держа на отлете.) – А у З-ского – меньше. У З-ского – с китайки, а у меня – с китайца, с китайского мудреца.

– самого простого кули, Володечка.

– А если он еще вдобавок и кули... весь социальный вопрос разрешен!

Шутим, шутим, а тоска все растет, растет...

– Володя, знаете для чего существуют поэты? Для того, чтобы не стыдно было говорить – самые большие вещи:

И сохранят всегда мои дороги —
Твою печать.

Стоим под моими тополями, когда-то еле-зелеными, сейчас – серебряными, и до того серебряными, что ни веток ни ствола не видно.

– Нет, нет, Марина Ивановна, вы не думайте, это еще не последний раз, я еще завтра, то есть – уже сегодня, я еще раз сегодня приду – за карточками детей – и совсем проститься.

Когда он «на следующий день» пришел, и я, впервые после той нашей, уже век назад, первой и единственной дневной прогулки, увидела его при свете и даже – на солнце, я

просто обмерла:

– Володя! Да что же это такое? Да вы же совсем не черный? Вы же – русский!

– И даже светло-русый, Марина Ивановна.

– Господи, а я-то целые полтора года продружила с черным!

– Вы, может быть, еще скажете, что у меня глаза – черные? – он, с немножким грусти.

– Нет, сине-серые, это я всегда знала, и с серыми – дружила... Но эти волосы – сон какой-то!

– Марина Ивановна, боюсь, – в голосе под слоем шуток явная горечь, – что вы и все остальное мое видели по-своему! Всего меня, а не только (презрительный жест к волосам) – это!

– А *если* – разве плохо видела?

– Нет, Марина Ивановна, хорошо, даже слишком хорошо, потому и боюсь с вами – дневного света. Вот я уже оказался – русым, а завтра бы оказался – скучным. Может быть – хорошо, что я еду?

– Володя! Не выводите меня из себя, из моего последнего с вами терпения, из нашего последнего с вами терпения! Потому что сами не обрадуетесь – и еще, может быть, не уедете! У меня полон рот, понимаете, полон рот – и я сейчас всем этим – задохнусь!

– *Не* надо, Марина Ивановна.

Сидим теперь в той чердачной комнате, откуда Аля лезла мне навстречу на крышу.

– Алечка! У меня к тебе просьба: почитай мне мамины стихи!

– Сейчас, Володечка!

Прибегает с малиновой книжкой, которая у нее в кухне под подушкой.

Серый ослик твой ступает прямо,
Не страшны ему ни бездна, ни река...
Милая Рождественская Дама,
Увези меня с собою в облака!

Я для ослика достану хлеба...

Голосок журчит...

Марина Ивановна, я вам подарок принес! Мою любимую книгу – про Жанну д'Арк – вы не знаете? Марка Твена – замечательную.

Раскрываю: надпись. Не читая – закрываю.

– Марина Ивановна, я всегда хвастался – что у меня свой оружейный склад – свой музей – и своя библиотека – и никому не показывал, потому что у меня были ровным счетом: гишпанская пиштоль, перстень и две книги; Мартин Иден – и эта. Теперь у вас – весь мой арсенал – весь мой музей – и вся моя библиотека. Я – чист.

– Марина! (Алин голос.) А мне можно подарить Володе мой «Волшебный фонарь»? Чтобы он читал в вагоне, если уж очень будут ругаться солдаты. Чтобы он *им* читал, потому что они тогда от удивления усмирятся, а потом заснут. Потому что деревенские, от стихов, всегда засыпают. Я когда Наде читала стихи, она всегда спала.

Володя, целуя ручку и в ней книжку: – Я не с солдатами еду, Алечка, а с сумасшедшими, говорят – тихими, но сейчас тихих нет, сейчас – все буйные.

– Ну, *они* уж от Мариных стихов – не заснут!

– Володя, а мы с Мариной вам письма написали на дорогу, как когда-то писали папе, чтобы читал в вагоне. Это – наши прощальные голоса.

– Когда ваш поезд?

- Скоро. Мне уже идти нужно.
- А проводить?..
- Нет, Марина Ивановна, я хочу с вами проститься – здесь.

– Теперь посидим перед дорогой.

Садимся в ряд, на узкий диван красного дерева. Аля вслух молится: – Дай, Господи, Володе счастливо доехать и найти на Юге то, что ищет. И потом вернуться в Москву – на белом коне. И чтобы мы еще были живы, и чтобы наш дом еще стоял. Аминь.

Крестимся, встаем, сходим по узкой мезонинной лестнице в вечную тьму коридора. На мое извечное движение – идти с ним дальше:

– Не провожайте дальше. Трудно будет идти.

Последняя минута. Скажу или нет? Скажет или —

Просто, как если бы всю жизнь только это и делал, обнимает меня за голову, прижимает к груди, целует в голову, целует в лоб, целует в губы.

Потом трижды крещу, творю над его лбом, плечами, грудью тот основной = крест его лица.

Отступил: уже за порогом. И через порог, уже без руки:

– Прощайте, Марина (и гору глотнув) – Ивановна.

Милый Володя!

Желаю, чтобы в вагоне не было душно, чтобы вас там кормили, хорошо обращались, никто к вам не приставал бы, дали бы вам открытое окно. Хочу, чтобы вся дорога была так хороша и восторженна, как раньше. Вы уезжаете, наш последний настоящий друг.

Володя! Я сейчас подняла голову и была готова заплакать. Я очень грущу. Вы последний по-настоящему любили нас, были так нежны с нами, так хорошо слушали стихи. У Вас есть Маринина детская книга. Вы ее будете читать и вспоминать, как читала Вам – я. Скоро опять кто-нибудь поедет в Киев и мы опять Вам напишем письма.

Володя. Мне кажется неправдой, что скоро Вас не будет. О, Господи! Эти вагоны не подожгут, потому что все пассажиры невинные. Постарайтесь быть незаметным и придумайте себе хорошую болезнь. Может случиться ужасно...

Эти напутственные Алины ужасы – не уцелели, потому что тут же послышался Володин прощальный стук, и письма ее себе в тетрадку я допереписать не успела. Думаю, что следовало описание водворения Володи на киевском вокзале из сумасшедшего вагона – в фургон, как самого опасного из сумасшедших.

На книге о Жанне д'Арк было надписано:

– Мы с вами любим – одно.

Потом было письмо, одно-единственное, в несколько строк.

Письмо кончалось: – Твердо надеюсь, что мы с вами еще встретимся. Этой верой буду жить.

Потом началось – молчание.

Стук в дверь. Открываю – Сонечка.

Радость? Нет. Удар – такой силы, что еле устаиваю на ногах.

А в ушах – родной поток: – Марина... и что-то еще, и еще, и еще, и опять: – Мар-рина... и только постепенно встают из потока слова: – только час, только час, только час. – У меня только час... У меня с вами только час. Я только что приехала и сейчас опять уезжаю... У нас с вами только час! Я только для вас приехала. Только час!

На лестнице сталкиваемся с квартирантами, спускающимися.

Сонечка: – Я Софья Евгеньевна Голлидэй, мне вам нужно сказать два слова.

Отец и сын покорно сворачивают обратно вверх. Стоим все на лестничной площадке.

– Гадкие люди! Как вы можете так эксплуатировать женщину, одну, без мужа, с двумя маленькими детьми?!

– Да мы... да мы...

– Вы вламываетесь в кухню, когда она спит, чтобы мыться (фыркая, как три кошки)... под струей! Точно вы от этого чище! Вы продаете ее часы и не даете ей денег! Вы в ее комнате, где ее книги и тетради, развешиваете свое поганое грязное белье!

– Но – позвольте... Софья Евгеньевна? – молодой, обидчиво – мы только мокрое чистое развешиваем!

– Ну, чистое – все равно поганое. Потому что есть чердак, с балками, но вам лень туда лезть.

– Но там пол проваливается, балки на голову падают...

– И чудесно, если проваливается... и чудесно, если падают...

– И, в конце концов, Марина Ивановна нам эту комнату – сдала.

– Но вы ей ни разу не заплатили.

– Это потому, что у нас сейчас нет денег: мы не отказываемся...

– Словом, это – бездарно, все ваше поведение с Мариной, без-дарно. И даже преступно. Вы, когда весь двор был полон солдатами – не разбудили ее среди ночи? Не просунули ей в щель какие-то идиотские мемуары и портреты – и целую мальтийскую шпагу?

– Но Марина Ивановна сама говорила, что если в случае...

– Я знаю, что – сама. А вы – пользуетесь. А если бы ее – расстреляли?

(Отец молчит и тяжело сопит, внутренне со всем согласный.)

– Словом, помните: я сейчас уезжаю. Но я вернусь. И если я узнаю, что вы – вы меня поняли? я наведу на вас беду – болезнь – и тиф, и чесотку, и что угодно – я вас просто *прокляну*.

(Нужно сказать, что после этого поляки присмирели, а впрочем, с первыми холодами – съехали. Прибавлю, что они были неплохие люди, а я – большая дура.)

Сидим наверху, на диване Володиного прощания. Комната вся в косых лучах – слёз.

– Марина, я очень странно себя чувствую – точно я уже умерла и посещаю места... – Марина, а граммофон – еще играет?

– С тех пор не заводила, Сонечка.

– И Володечки нет. Не то, что нет – его ведь часто не было – а вот то, что не войдет... Только неделя как уехал? Жаль...

...Если бы я знала, что все так будет ужасно, я бы может быть не пришла к вам в первый раз?

Это сюда кот к вам лазил, в дыру в окне? Каждую ночь – в котором часу? Марина, может быть это моя смерть была – он ведь валерьянкой пах? – когда умирают, ведь тоже пахнет эфиром... Потому что зачем ему было лазить, раз нечего было есть? Он за мной приходил, Марина, за нашей смертью, за концом этого всего... Такой светло-светло-серый, почти совсем невидный – как рассвет? И весь в слюнях? О, какая гадость, Марина, какая гадость! Ну, конечно, это был *не* -кот, Марина – уже по вашей покорности... А я в эти часы не спала и плакала, ужасно плакала, Марина, по вас, по мне...

...Марина, если вы когда-нибудь узнаете, что у меня есть подруги, подруга, – не верьте: все тот же мой вечный страх одиночества, моя страшная слабость, которую вы никогда не хотели во мне признать.

И – мужчина – не верьте. Потому что это всегда туман – или жалость – вообще самозабвение.

Вас же я любила в здравом уме и твердой памяти и все-таки любила – безумно.

Это, Марина, мое завещание.

...Завещаю вам Юру, он не такой ничтожный, какой *даже нам* кажется, не такой

бездушный... Я не знаю, в городе ли он сейчас, у меня был только час, и этот час – ваш – и я не смею просить вас... Марина! Я не смею вас просить, но я буду вас умолять: не оставьте Юру! Вы иногда о нем с добротой —хоть думайте... А если зимой встретите (я, конечно, осенью вернусь), скажите ему, но только не прямо – он этого не любит – ну, вы – сумеете! – что если я даже выйду замуж, он из ангелов все-таки мой любимый...

А Володю бы я всю жизнь любила, всю жизнь любила, но он не мог меня любить – только целовать – да и то (чуть рассмеявшись) как-то нехотя, с надсадом. Оттого и целовал так крепко.

У вас чувство – он когда-нибудь вернется?

...И Алечки моей нет... Передайте ей, когда вернется из своего Крылатского (какое название чудесное!), что я бы такую дочку хотела, такую дочку – хотя я знаю, что у меня их никогда не будет.

Почему, Марина, мне все ваше пришлось полюбить, все до последней паутины в доме, до последней трещины на доме? Чтобы все – потерять?

...Который час? Ах, это у вас – в «Приключении» – она все спрашивает: который час? И потом опять: который час? И никогда не слышит ответа, потому что это не «который час», а: когда – смерть? Марина, нельзя все вернуть назад, взять и повернуть – руками – как реку? Пустить – обратно? Чтобы опять была зима – и та сцена – и вы читаете «Метель». Чтобы был не последний раз, а – первый раз?

О, если бы мне тогда сказали, что все это так кончится! Я бы не только не пришла к вам в первый раз, я бы на свет прийти – отказалась...

Но все-таки – который час, Марина? Это уже я – серьезно. Потому что меня к вам – не хотели пускать, я еле умолила, дала честное слово, что ровно в четыре буду на вокзале...

Марина, зачем я еду? Ведь я никого не убью – если не поеду? ведь – никто не умрет? Марина, можете ли вы меня понять? Я сейчас уезжаю от вас, которая для меня – все – потому что дала слово в четыре быть на вокзале. А на вокзале – для чего? Кто это все сделал?

– Нет, Марина, не стоит рассказывать и времени уже нет. (Который час, Марина?) Было – как везде и всегда было и будет без вас: – *не было*, я не была, ничего не было. Я сейчас (навзрыд плачет) в первый раз за весь этот месяц – живу, последний час перед смертью – живу, и сколько бы мне еще ни осталось жить, Марина – это был мой последний час.

Встали, идем. Останавливаемся на пороге кухни:

– И моей Ирины нет. Я знала, что ее нет, но как-то не ждала пустой кровати... (Сама себе, потерянно:) – Галли-да, Галли-да...

– Марина, я хочу пройти к вам – с фонарем проститься, с граммофоном... Ах, я забыла – там теперь поляки и «мокрое чистое» белье...

– Марина! Не провожайте меня! Даже на лестницу! Пусть будет так, как в первый раз, когда я к вам пришла: я – по ту сторону порога, вы – по эту, и ваше любимое лицо – во тьме коридора.

Я ведь еду с «второй партией» (смеясь сквозь слезы) – как каторжанка! Сонька-каторжанка и есть. Я не могу после вас – остаться с ними! Я их убью или сама из окна выброшусь! (Тихо, почти шепотом:)

От лихой любовной думки
Как поеду по чугунке,
Распыхтится паровоз,
И под гул его угрюмый
Буду думать, буду думать,
Что сам Черт меня унес...

Марина! Как *ужасно* сбывается! Потому что это сам Черт меня уносит от Вас...

Последние ее слова в моих ушах:

– Марина! Я осенью вернусь! Я осенью вернусь!

– Ну что, видели вашу Сонечку?

– Сонечку? Когда?

– То есть как – когда? Вчера, конечно, раз она вчера же уехала. Неужели она к вам не зашла? Так вот она какая неверная.

«Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела... Стены и полы облиняли, все потускнело; паутины развелось еще больше. Не знаю отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоящий напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались и стены их темно-желтого цвета стали пегие.

Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих, или, может быть, передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, какой я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким...»

После первого удара, на который я ответила камнем всей подставленной груди, смертным холодом сердца, бессмертным холодом лба – цезаревым (смеяться нечего!) – и ты, Брут? – в котором я слышу не укор, а – сожаление, а – снисхождение: точно Брут – лежит, а Цезарь над ним – клонится...

Но сократим и скажем просто: я не поняла, но приняла – именно как принимают удар: потому что ты – тело, и это тело было по дороге.

До моего отъезда из России – в апреле 1922 года, то есть целых три года, я не сделала ни одной попытки разыскать Сонечку, три года сосуществования с нею в одной стране я думала о ней, как об умершей: минувшей. И это – с первой минуты вести, с последнего слога фразы: – Была и уехала.

«Но, чтобы я помнил обиду мою, Настенька?»

Обиды не было.

Я знала, что ее неприход – видимость, отсутствие – мнимость, может ли не прийти тот, кто тебе сопутствует, как кровь в жилах, *отсутствовать* – тот, кто не раньше увидит свет, чем твоя сердечная кровь?

И если я вначале как бы сердилась и негодовала, то только на поверхности – на поверхность поступка, надеясь этим своим негодованием обратить все в обычное: отворотить – роковое. (Если я на Сонечку рассержусь и обижусь – то значит она – есть.)

Но ни секунды я в глубине своей души не поверила, что она – почему-нибудь не пришла, так – не пришла, *не пришла*.

И чем больше мне люди – сочувствовали: «неблагодарность, легкомыслие, непостоянство» – тем одиноче и глубже я – знала.

Я знала, что мы должны расстаться. Если бы я была мужчиной – это была бы самая счастливая любовь – а так – мы неизбежно должны были расстаться, ибо любовь ко мне неизбежно помешала бы ей – и уже мешала – любить другого, всегда бывшего бы тенью, которую она всегда бы со мною предавала, как неизбежно предавала и Юру и Володю.

Ей неизбежно было от меня оторваться – с мясом души, ее и моей.

Сонечка от меня ушла – в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину – в конце концов все равно какого – и любить его одного до смерти.

Ни в одну из заповедей – я, моя к ней любовь, ее ко мне любовь, наша с ней любовь – не входила. О нас с ней в церкви не пели и в Евангелии не писали.

Ее уход от меня был простым и честным исполнением слова Апостола: «И оставит человек отца своего и мать свою...» Я для нее была больше отца и матери и, без сомнения,

больше любимого, но она была обязана его, неведомого, предпочесть. Потому что так, творя мир, положил Бог.

Мы же обе шли только против «людей»: никогда против Бога и никогда против человека.

Но как же согласовать то чувство радостной собственности, Сонечкиной, для меня, вещественности и неотъемлемости, то чувство кольца на пальце – с этими отпущенными, отпустившими, опустившимися руками?

А – вот: так владев – можно было только так потерять.

Читатель, помнишь? – «или уж вместе с пальцем...»

Сонечку у меня оторвали – вместе с сердцем.

Умный зверь, когда наступает смерть, сразу знает: то самое! – и не лечится травками. Так и я, умный зверь, сразу свою смерть – узнала, и брезгуя всеми травками и поправками, ее приняла. Не: Сонечка для меня умерла, и не любовь умерла, – Сонечка из моей жизни умерла, то есть вся ушла внутрь, в ту гору, в ту пещеру, в которой она так провидчески боялась – пропасть.

Ведь все мое чудо с нею было – что она была снаружи меня, а не внутри, не проекцией моей мечты и тоски, а самостоятельной вещью, вне моего вымысла, вне моего домысла, что я ее не намечтала, не напела, что она не в моем сердце, а в моей комнате – была. Что раз в жизни я не только ничего не добавила, а – еле совладала, то есть получила в полную меру – моего охвата и отдачи.

Сонечка была мне дана – на подержание – в ладонях. В объятьях. Оттого, что я ребенка подержала на руках, он не стал – мой. И руки мои после него так же пусты.

Каждого подержанного ребенка у нас отбирает – мать. У Сонечки была мать – судьба.

Обида? Измена?

Сонечкин неприход ко мне в последний раз был тот же Володин приход ко мне – в последний раз, – вещь того же веса: *всего* существа. И значил он совершенно то же самое.

Так, как Володя – пришел, она – *не* пришла, так же всем существом *не* пришла, как он – пришел.

Сонечкин неприход ко мне был – любовь.

Это был первый шаг ее отсутствия из моей жизни, первый час ее безмолвного потустороннего во мне присутствия, в меня – вселения.

Сонечка не пришла ко мне потому, что бы – умерла, просто изошла бы слезами, от всей Сонечки – только бы лужица. Или сердце бы стало на последнем слоге моего имени.

Володя пришел, потому что не мог расстаться, не простясь, Сонечка не пришла – потому что проститься не могла.

Но и по еще одному-другому – не пришла: Сонечка не пришла – потому что *уже* умерла.

Так не приходят – только умершие, потому что не могут, потому что земля держит. И я долго-долго чувствовала ее возле себя, почти что в досягаемости моей руки, совершенно так же, как чувствуешь умершего, на руке которого не смыкаешь руки только потому, что этого – не должно, потому что это опрокинуло бы все ведомые нам законы: от равного страха: встретить пустоту – и встретить руку.

Сонечки, в конце концов, мне стало только не слышно и не видно.

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь...»

Нет, она никогда мне не была – хлебом насущным: кто – я, чтобы *такое* мне могло

быть – хлебом насущным? Этого никогда бы не допустила моя humilite³⁹. Не насущным хлебом, а – чудом, а такой молитвы нет: – Чудо насущное даждь нам днесь. В ней не было ни тяжести насущного хлеба, ни его железной необходимости, ни нашей на него обреченности, ничего от «в поте лица твоего»... Разве Сонечку можно – заработать? Даже трудом всей жизни? Нет, такое дарится только в подарок.

Как Корделия, в моем детском Шекспире, про Короля Лира – о соли, так я про Сонечку – о сахаре, и с той же скромностью: она мне была необходима – как сахар. Как всем известно, сахар – не необходим, и жить без него можно, и четыре года Революции мы без него жили, заменяя – кто патокой, кто – тертой свеклой, кто – сахаринном, кто – вовсе ничем. Пили пустой чай. От этого не умирают. Но и не живут.

Без соли делается цинга, без сахара – тоска.

Живым белым *целым* куском сахара – вот чем для меня была Сонечка.

Грубо? Грубо – как Корделия: – «Я вас люблю, как соль, не больше, не меньше». Старого короля можно любить, как соль, но... маленькую девочку? Нет, довольно соли. Пусть раз в мире это будет сказано: я ее любила, как сахар – в революцию. И всё тут.

Kannst Du dem Augenblicke sagen:
– Verweile noch! Du bist – so schön...⁴⁰

Нет, этого у меня с нею не было. Было другое, обратное и большее:

Behüt Dich Gott! – es wärzuschön gawesen,
Behüt Dich Gott! – es hat nicht sollen sein⁴¹.

Было великое поэтическое сослагательное: *бы*, единственное поэтическое владение: *бы*.

Была – судьба. Было русское «не-судьба».

Вспомним слово Царя Давида:

– Человеку от Бога положено семьдесят лет, а что свыше – уже Божья милость.

Нам с Сонечкой было положено три месяца, нет! – *вся* Сонечка, вся трехмесячная вечность с нею уже были этим свыше – человеческого века и сердца.

Мария... Миранда... Мирэй... – ей достаточно было быть собой, чтобы быть – всеми...
Так сбылось на ней пророческое слово забывчивого Павлика:

Единая под множеством имен...

Для меня – сбылось. Но не только имена обрели лицо.

Вся мужская лирика, доселе безобъектная, или с обратным объектом – самого поэта –

³⁹ Смирность (*фр.*).

40

Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!» (*нем.*).

41

Храни господь! Прекрасно это было,
Храни господь! Так быть и не должно! (*нем.*).

ибо быть *ею* всей поэтовой любви, вставить в нее – себя: свое лицо как в зеркало, я не могла, ибо сама хотела любить и сама была поэт – вся мужская лирика для меня обрела лицо: Сонечкино. Все эти пустоты (ты, она – на всех языках), имеющие дать и дающие только переполненность поэта сердца и полноту его *я*, вдруг – ожили, наполнились ее лицом. В овальной пустоте, в круглом нуле всякого женского образа в стихах поэта – Сонечкино лицо оказалось как в медальоне.

Но нет, у Ленау лучше – шире!

Es braust der Wald, am Himmel ziehn
Des Sturmes Donnerfüge,
Da mal'ich in die Wetter hin
– O Mädchen! Deine Züge⁴².

Все песни всех народов – о Сонечке, всякий дикарь под луной – о Сонечке, и киргиз – о Сонечке, и таитянин – о Сонечке, весь Гёте, весь Ленау, вся тоска всех поэтов – о Сонечке, все руки – к Сонечке, все разлуки – от Сонечки...

Нужно ли прибавлять, что я уже ни одного женского существа после нее не любила, и уже конечно не полюблю, потому что люблю все меньше и меньше, весь остающийся жар бережа для тех – кого он уже не может согреть.

Зима 1919 г. – 1920 г. В дверь уже не стучат – потому что больше не закрывается: кто-то сломал замок. Итак, вместо стука в дверь – стук сапог, отряхающих снег, и голос внизу:

– Здесь живет Марина Ивановна Цветаева?

– Здесь. Подымитесь, пожалуйста, по лестнице.

Входит. Чужой. Молодой. Знаю: этого человека я никогда не видала. Еще знаю: вошел – враг.

– Я А-в, брат Володи А-ва. У вас нет вестей от брата?

– Были. Давно. Одно письмо. Тогда же.

– У нас – никогда – ничего.

– Всего несколько слов: что надеется на встречу, здоров...

– А с тех пор?

– Ничего.

– Вы мне разрешите вам поставить один вопрос. И заранее меня за него извините. Какие отношения у вас были с братом? Я вас спрашиваю, потому что – мы были с ним очень дружны, все, вся семья – он тогда, на последнюю Пасху – ушел, пошел к вам, и (с трудом, по-Володиному сглатывая) свой последний вечер провел – с вами... Дружба? Роман? Связь?

– Любовь.

– Как вы это сказали? Как это понять?

– Так, как сказано. И – ни слова не прибавлю.

(Молчит. Не сводит глаз, не подымаю своих.)

Я: – Дайте адрес, чтобы в случае, если...

– Вы не знаете нашего адреса?

– Нет, Володя всегда ко мне приходил, а я ему не писала...

42

Взьерошен лес, плывут над землей
Грозы громовые распевы.
Я этот мир дорисую тобой,
Твоими чертами, о дева! (нем.) .

(Перевод Е. И. Маркович) .

– И вы ничего не знали о нас, отце и матери, братьях?
– Я знала, что есть семья. И что он ее любит.
– Так что же это за отношение такое... нечеловеческое?
(Молчим)

– Значит – вы его никогда не любили – как я и думал – потому что от любимой женщины не уезжают – от – любящей...

– Думайте, что хотите, но знайте одно – и родителям скажите: я ему зла не сделала – никакого – никогда.

– Странно это все, странно, впрочем, он – актер, а вы – писательница... Вы меня, *пожалуйста*, простите. Я был резок, я плохо собой владел, я не того ждал... Я знаю, что так с женщинами не разговаривают, вы были очень добры ко мне, вы бы просто могли меня выбросить за дверь. Но если бы вы знали, какое дома – горе. Как вы думаете – он жив?

– Жив.

– Но почему же он не пишет? Даже вам не пишет?

– Он – пишет, и вам писал, и много раз – но письма не доходят.

– А вы не думаете, что он – погиб?

– Сохрани Бог! – нет.

– Я так и родителям передам. Что вы уверены, что он – слава Богу! – (широкий крест) – жив – и что пишет – и что...

А теперь я пойду. Вы меня простили?

– Обиды не было.

Уже у выхода: – Как вы так живете – не запираюсь? И ночью не запираетесь? И какая у вас странная квартира: темная и огромная, и все какие-то переходы... Вы разрешите мне изредка вас навещать?

– Я вам сердечно буду рада.

– Ну, дай вам Бог!

– Дай – *нам* Бог!

Не пришел никогда.

Чтобы закончить о Юрии З. Перед самым моим отъездом из России уже в апреле 1922 г., в каком-то учреждении, куда я ходила из-за бумаг, на большой широкой каменной лестнице я его встретила в последний раз. Он спускался, я подымалась. Секундная задержка, заминка – я гляжу и молчу – как тогда, как всегда! снизу вверх, и опять – лестница! Лицо – как пойманное, весь – как пойманный, забился как большая птица: – Вы, вы не думайте, вы не поняли, вы не так поняли... Все это так сложно... так далеко-не-просто...

– Да, да, конечно, я знаю, я – давно знаю... Прощайте, Ю. А., совсем прощайте, я на днях уезжаю совсем – уезжаю...

И – вверх, а он – вниз. И – врозь.

О действующих лицах этой повести, вкратце: Павлик А. – женат, две дочери (из которых одна – не в память ли Сонечки? – красавица), печатается.

Юрий З. – женат, сын, играет.

Сестра Верочка, с которой я потом встретилась в Париже и о которой – отдельная повесть, умерла в 1930 г., от туберкулеза, в Ялте, за день до смерти написав мне свою последнюю открытку карандашом: – Марина! Моя тоска по Вас такая огромная, как этот слон.

...Они были брат и сестра, и у них было одно сердце на двоих, и все его получила сестра...

Володя А. пропал без-вести на Юге – тем же летом 1919 г.

Ирина, певица Галлиду, умерла в 1920 г., в детском приюте.

Евгений Багратионович Вахтангов давно умер в России.

Вахтанг Леванович Мchedелов давно умер в России.

Юра С. (давший Але пирожок) умер здесь, в Париже, достигнув славы.

Другой Юра – Н. (с которым мы лазили на крышу) – не знаю.

Аля в 1937 г. уехала в Москву, художница.

Дом в Борисоглебском – стоит. Из двух моих тополей один – стоит.

Я сказала: «действующие лица». По существу же действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала – лицами.

Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жизни, – к вам, в вас – умираю. Чем больше вы – здесь, тем больше я – там. Точно уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени и в пространстве – и в их обратном. Моя смерть – плата за вашу жизнь. Чтобы оживить Аидовы тени, нужно было напоить их живою кровью. Но я дальше пошла Одиссея, я пою вас – своей.

29 апреля 1922 г., русского апреля – как я тогда простонародно говорила и писала. Через час – еду за границу. *Всё.*

Стук в дверь. На пороге – Павлик А., которого я не видала – год?

Расширенные ужасом, еще огромнейшие, торжественные глаза. Соответствующим голосом (голос у него был огромный, странный – в таком маленьком теле), но на этот раз огромнейшим возможным: целым голосовым аидовым коридором:

– Я... узнал... Мне Е. Я. сказала, что вы... нынче... едете за границу?

– Да, Павлик.

– Марина Ивановна, можно?..

– Нет. У меня до отъезда – час. Я должна... собраться с мыслями, проститься с местами...

– Но – на одну минуту?

– Она уже прошла, Павлик.

– Но я вам все-таки скажу, я должен вам сказать (глубокий глоток) – Марина, я бесконечно жалею о каждой минуте этих лет, проведенной *не* с вами...

(У меня – волосы дыбом: слова из Сонечкиного письма... Значит, это она со мной сейчас, устами своего поэта – прощается?!)

– Павлик, времени уже нет, только одно: если вы меня когда-нибудь – хоть чу-уточку! —любили, разыщите мне мою Сонечку Голлидэй.

Он, сдавленным оскорблением голосом:

– Обещаю.

Теперь – длинное тирэ. Тирэ – длиной в три тысячи верст и семь лет: в две тысячи пятьсот пятьдесят пять дней.

Я гуляю со своим двухлетним сыном по беллевю'скому парку – Observatoir'e. Рядом со мной, по другую мою руку, в шаг моему двухлетнему сыну, идет Павлик А., приехавший со студией Вахтангова. У него уже две дочери и (кажется?) сын.

– А... моя Сонечка?

– Голлидэй замужем и играет в провинции.

– Счастлива?

– Этого я вам сказать не могу.

И это – все.

Еще тирэ – и еще подлиннее: в целые десять лет. 14-ое мая 1937 г., пятница. Спускаемся с Муром, тем, двухгодовалым, ныне двенадцатилетним, к нашему метро Mairie-d'Issy и приблизительно у лавки Provence он – мне, верней – себе:

- А American Sunday это ведь ихнее Dimanche Illustre!⁴³
- А что значит – Holiday?
- Свободный день, вообще – каникулы.
- Это значит – праздник. Так звали женщину, которую я больше всех женщин на свете любила. А может быть – больше всех. Я думаю – больше всего. Сонечка Голлидэй. Вот, Мур, тебе бы такую жену!
- Он, возмущенно: – Ма-ама!
- Я не говорю: *эту* жену, она уже теперь немолодая, она была года на три моложе меня.
- Я не хочу жениться на старухе! Я вообще не хочу жениться.
- Дурак. Я не говорю: на Сонечке Голлидэй, а на такой, как Сонечка. Впрочем – *таких нет*, так что ты можешь успокоиться – и вообще никто ее не достоин.
- Мама! Я ведь ее не знаю, вы говорите о чем-то, что *вы* знаете, – вы конечно можете мне рассказать...
- Но тебе ведь – неинтересно...
- (Он, думая о ждущем его на углу бульвара Raspail газетном киоске с американскими Микэями:)
- Нет, очень интересно...
- Мур, она была маленькая девочка, и, – ища слова, – и настоящий чертенок! У нее были две длинных, длинных темных косы... (У Мура – невольная гримаса: «*au temps des cheveux et des chevaux*»)⁴⁴ ...и она была такая маленькая... куда меньше тебя (гримаса увеличивается) – потому что ты уже больше меня... (соблазняя) и такая храбрая: она обед носила юнкерам под выстрелами в Храм Христа Спасителя...
- А почему эти юнкера в церкви обедали?
- Не важно. Важно, что под выстрелами. Ей я на прощанье сказала: – Сонечка, что бы со мной ни было, пока вы *есть* – все хорошо. Она была самое красивое, что я когда-либо в жизни видела, самое сладкое, что я когда-либо в жизни ела... (Мур: – Фу, мама!) Она мне писала письма, и в одном письме, последнем: – Марина! Как я люблю ваши руки, которые должны быть только целуемы, а они двигают шкафы и поднимают пуды...
- Ну, это уж – романтизм! Почему – целуемы?
- Потому что... потому что... (*prenant l'offensive*)⁴⁵ – а что ты имеешь на это возразить?
- Ничего, но если бы она например написала (запинка, ищет)... которые должны только нюхать цветы...
- И поняв, сам первый смущенно смеется.
- Да, да, Мур, на каждом пальце по две ноздри! Сколько всего будет ноздрей, Мур?
- (Смеемся оба. Я, дальше:)
- И еще одно она мне сказала: – Марина! Знать, что вы – есть – знать, что смерти – нет.
- Ну, это конечно для вас *flatteur*⁴⁶.
- При чем?! Просто она сказала то, что есть, то, что тогда было, ибо от меня шла такая сила жизни – и сейчас шла бы... и сейчас идет, да только никто не берет!
- Да, да, конечно я понимаю, но все-таки...
- Я непременно напишу Але, чтобы ее разыскала, потому что мне необходимо, чтобы она знала, что я никого, никого за всю жизнь так...

⁴³ Иллюстрированный воскресный выпуск (*фр.*).

⁴⁴ Во времена кос и лошадей (*фр.*).

⁴⁵ Принимая наступательный тон (*фр.*).

⁴⁶ Лестно (*фр.*) .

Мы у метро, и разговор кончен.

Маленькое тирэ – только всего в один день:

15-ое мая 1937 г., суббота. Письмо из России – авионом – тяжелое. Открываю – и первое, что вижу, совсем в конце: Сонечка Голлидэй – и уже знаю.

А вот *что* я – уже знаю:

«Мама! Забыла Вам написать! Я разыскала следы Сонечки Голлидэй, Вашей Сонечки – но слишком поздно. Она умерла в прошлом году от рака печени – без страданий. Не знала, что у нее рак. Она была одна из лучших чтиц в провинции и всего года два тому назад приехала в Москву. Говорят, что она была совершенно невероятно талантлива...»

А вот – вторая весть, уже распространенная: рассказ сестры одной Сонечкиной подруги – Але, Алей записанный и мне посланный:

«Она вышла замуж за директора провинциального театра, он ее очень любил и был очень преданный. Все эти годы – с 1924 г. до смерти – Соня провела в провинции, но приезжала в Москву довольно часто. Мы все ее уговаривали устроиться и работать в Москве, но она как-то не умела. Конечно, если бы Вахтангов остался в живых, Соня жила бы иначе, вся бы ее жизнь иначе пошла. Ее очень любил К-в, он вообще мягкий и добрый человек, но помочь ей никак не сумел. Кроме того, у него очень ревнивая семья, и Соне трудно было бывать у них. Тяжело... С 3-ским она почти не виделась. Редко, редко. С.? Одно время он очень увлекался ею, ее даром, но его увлечения длятся недолго.

Ей надо было заниматься только читкой, но она так была связана с театром! Разбрасывалась. А в театре, конечно – труднее. В провинциальных театральных коллективах она была ну... ну как алмаз! Но ей редко попадались хорошие роли. Если бы она занималась читкой – она одна на сцене – представляете себе? Да, она была маленькая-маленькая. Она часто играла детей. Как она любила театр! А если бы Вы знали, как она играла – нет, не только в смысле игры (я-то ее мало видела, она работала главным образом в провинции) – но она была настоящим героем. Несколько лет тому назад у нее начались ужаснейшие желудочные боли. И вот она сидела за кулисами с грелкой вот тут, потом выходила на сцену, играла, а потом, чуть занавес, опять за грелку.

– Но как же тогда, когда начались эти боли, она не пошла, ее не повели к доктору?

– Она приехала в Москву и пошла к очень хорошему гомеопату. Он ей дал лекарства, и боли как рукой сняло. Потом она только к этому гомеопату и ходила. Так она прожила года четыре и все время себя хорошо чувствовала. В последний раз, когда она приехала в Москву, я нашла, что она страшно похудела, одни глаза, а все лицо – очень стало маленьким. Она очень изменилась, но этого не знала, и даже когда смотрелась в зеркало – не видела. Потом ее муж мне сказал, что она ничего не может есть. Мы позвали доктора, а он сказал, что надо позвать хирурга. Хирург ее внимательно осмотрел и спросил, нет ли у нее в семье раковых заболеваний. Она сказала, что нет. Тогда он сказал, что ей нужно лечь в больницу. Мы от нее конечно скрывали, что у нее. Но ей ужасно не хотелось в больницу, и она все время плакала и говорила: – Это ехать в гроб! – Это гроб! – Но в больнице она успокоилась и повеселела и начала строить всякие планы. Ей сделали операцию. Когда ее вскрыли, то увидели, что слишком поздно. Доктора сказали, что жить ей осталось несколько дней.

К ней все время приходили ее муж и моя сестра. Она не знала, что умирает. Она все время говорила о том, как будет жить и работать дальше. Сестра у нее была в день ее смерти, и муж, и еще кто-то. Софья Евгеньевна любила порядок, попросила сестру все прибрать в палате (она лежала в отдельной палате). Ей

принесли много цветов, и сестра их поставила в воду, убрала все. Соня сказала: – А теперь я буду спать. – Повернулась, устроилась в кровати и уснула. Так во сне и умерла.

Я не помню часа и числа, когда она умерла. Меня не было в Москве. Сестра наверное помнит. Мне кажется – под вечер. Когда же это было? Летом, да. Летом. Тогда прилетели Челюскинцы.

Она так, так часто вспоминала Вашу маму, так часто рассказывала нам про нее и про вас, так часто читала нам ее стихи. Нет, она никогда, никогда ее не забывала.

...После ее смерти ее муж куда-то уехал, пропал. Где он сейчас – неизвестно.

Соню – сожгли».

«Когда прилетели Челюскинцы...» Значит – летом 1934 г. Значит – не год назад, а целых три. Но год – или три – или три дня – я ее больше не увижу, что – всегда знала, – и она никогда не узнает, как...

Нет! она навсегда – знала.

«Когда прилетели Челюскинцы» – это звучит почти как: «Когда прилетели ласточки»... явлением природы звучит, и не лучше ли, в просторе, и в простоте, и даже в простонародности своей, это неопределенное обозначение – точного часа и даты?

Ведь и начало наше с нею не – такого-то числа, а «в пору первых зеленых листиков...».

Да, меня жжет, что Сонечку – сожгли, что нет креста – написать на нем – как она просила:

И кончалось все припевом:

– Моя маленькая!

Но – вижу ее в огне, *не* вижу ее – в земле! В ней совсем не было той покорности и того терпения, одинаково требующихся от отжившего тела и от нежившего зерна. В ней ничего не было от зерна, все в ней было:

Ja! ich weiss woher ich stamme:
Unersättlich wie die Flamme
Nähr ich und verzehr ich mich!
Glut wird alles, was ich fasse,
Kohle – alles, was ich lasse, —
Flamme bin ich sicherlich!

Знаю я – откуда родом!
Точно огонь – ненасытимый,
Сам себе я корм и смерть.
Жар – все то, что я хватаю,
Уголь – все, что я бросаю,
Я воистину огонь!

Жжет, конечно, что некуда будет – если это будет – будет – прийти постоять. Не над чем. Что Сонечки нет – совсем. Даже ее косточек. Но Сонечка – и косточки... нет!

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти...

Первое, что я о ней слышала, было: костер, последнее: сожгли. Первое, что я о ней слышала, было: костер, и последнее: костер.

Но как странно, как наоборот сбылись эти строки Павлика:

...Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть

—*Твои* глаза...

– Ведь Инфанту – жгли, а Карлик – глядел: на нее, вечно-молодую, сжигаемую, несгораемую – поседевший, поумневший Карлик Инфанта!

Моя бы воля – взяла бы ее пепел и развеяла бы его с вершины самой (мне еще сужденной) высокой горы – на все концы земного шара – ко всем любимым: небывшим и будущим. Пусть даже – с Воробьевых гор (на которые мы с ней так и не собрались: у меня – дети, очереди... у нее – любовь...)

Но вдруг я – *это* делаю? Это – *делаю*? Ни с какой с горы, ни даже холма: с ладони океанской ланды рассеиваю ее пепел – вам всем в любовь, небывшие и будущие?

...А теперь – прощай, Сонечка!

«Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?...»

Ласапи-Осеп, лето 1937 г.

Примечания

Все тексты печатаются по изданию: Цветаева Марина. Собр. соч. в 7 т. Т. 4, 5. М.: Эллис Лак, 1994. При подготовке примечаний использовались материалы комментариев А.А. Саакянц и Л.А. Мнухина из этого собрания, разыскания В.А. Швейцер, И.В. Кудровой, Р.А. Будагова, Н.А. Козиной, Л.П. Черкасовой и др. Стихотворные и другие цитаты, как правило, не атрибутируются. Повторяющиеся реалии комментируются лишь при первом упоминании.

Повесть о Сонечке. Первая часть повести («Павлик и Юра») опубликована в журнале «Русские записки» (Париж; Шанхай. 1938. ; 3); вторая («Володя») – в кн.: Цветаева М. Неизданное. Париж, 1976. Посвящена памяти актрисы и чтицы Софьи Евгеньевны Голлидэй (1894—1934), с которой Цветаева была дружна с конца 1918 по весну 1919 года. Тогда же она посвятила ей цикл стихотворений, написала для неё роли в пьесах «Фортуна», «Приключение», «каменный Ангел», «Феникс». Эпиграф – начало безымянного стихотворения Виктора Гюго из сборника «Созерцания».

Юрию и Вере З. – Ю.А. Завадский и его сестра Вера Александровна, гимназическая знакомая Цветаевой.

Павлик А. – поэт Павел Антокольский.

Лиля Ш. – актриса, режиссёр, педагог Елена Шик (Елагина).

Юра С. – актёр Георгий Серов (1894—1929).

Юра Н. – композитор и дирижёр Юрий Сергеевич Никольский (1895—1962), заведовавший в 1919 году музыкальной частью Вахтанговской студии.

Абу Эдмон (1828—1895) – французский писатель.

Стахович Алексей Александрович (1856—1919) – актёр МХТ, театральный педагог. Ему посвящён очерк Цветаевой «Смерть Стаховича», а история его жизни послужила основой для работы над её пьесой «Феникс».

«...узника Бонивара...» – швейцарский гуманист Франсуа Бонивар (1493—1570) вместе с жителями Женевы боролся против владычества герцога Савойского. После заточения в тюрьму его стали называть «Шильонским узником».

...девы д'Аннунцио ... – Речь идёт об инсценировке романа итальянского писателя Габриеля д'Аннунцио «Девы скал».

...пьеса... *Юрия Слёзкина* – Вероятно, имеется в виду пьеса «Зеркало Коломбины»

писателя Юрия Слёзкина.

Мчедлов (Мчедлишвили) В.Л. – режиссёр, педагог; один из организаторов Второй студии МХТ (1916).

Malibran – знаменитая французская певица Мария Фелисита Гарсиа Малибран (1808—1836).

Патти Аделина (1843—1919) – выдающаяся американская певица.

Сегюр (де Сегюр) Софья Фёдоровна, графиня (1799—1874) – французская детская писательница русского происхождения – дочь графа Ф.В. Ростопчина. Переводы её книг многократно издавались в России.

Банг Герман (1857—1912) – датский писатель.

Володя – актёр студии Владимир Васильевич Алексеев (1892—1919).

«Гибель „Надежды“ – пьеса Г. Хейерманса, голландского драматурга. *«Потоп»* – пьеса шведского писателя Ю.Х. Бергера.

Волконский Сергей Михайлович (1860—1937) – писатель, театральный деятель.

Козетта, Жан Вальжан – герои романа В. Гюго «Отверженные».

Письма к Г-ру... – Возможно, речь идёт о драматурге Льве Владимировиче Гольденвейзере.

«Но, чтобы я помнил обиду мою, Настенька!» – из повести «Белые ночи» Достоевского.

Е.Я. – вероятно, Елизавета Яковлевна Эфрон, сестра мужа Цветаевой.

А вот – вторая весть.. . – Приводится, с изменениями, письмо Елизаветы Павловны Редлих (Кривошапкиной) к Ариадне Эфрон.

...моя сестра. – Вера Павловна Редлих (1893—1992) – в то время актриса Второй студии МХТ и подруга Софьи Голлидэй.

Ja! Ich weiss woher ich stamme.. . – стихотворение Фридриха Ницше «Ессе Номо».

«Да будешь ты благословенна...» – из повести «Белые ночи» Достоевского.